

МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ

Аннотация. Дискуссия посвящена изучению истории движений массового протеста и сегодня потрясающих государственные институты многих стран мира. С древности народные выступления отличались своими масштабами, составом участников, их идеологией, но при этом имели ряд общих черт. В центре внимания участников дискуссии находятся вопросы, связанные с народными движениями в России на протяжении XVII–XX вв. Ранее наиболее актуальными считались вопросы формальной классификации иерархии народных выступлений от «восстания» до «народной войны» и их движущие силы. Современные исследования ставят в центр изучения культурно-антропологические особенности участника восстания, «человека бунтующего». Среди его базовых характеристик – принадлежность к российскому крестьянству с устоявшейся общинной психологией и традициями поведения. Возможность подобного подхода связана с расширением круга источников, где наряду с традиционными памятниками письменности и фольклором приобретают значение и археологические материалы. Вопрос об истории повседневности, или «рутине мятежа» показывает значение этнографических подходов, в том числе и для изучения феномена современного «повседневного национализма» в общественной жизни США.

Ключевые слова: массовые народные движения, социальный протест, бунт, восстание, мятеж, крестьянство, казачество, повседневность, художественные образы.

Вопросы дискуссии:

1. «Бунт», «мятеж», «восстание» и «революция»: насколько надежны содержательные границы этих и близких им понятий?
2. Насколько исторически уникальны и востребованы исследователями ситуации, когда массовое движение является также объектом самоописания?
3. «Человек восставший» как социо-антропологический тип: чем определяются и как фиксируются его личностные, психологические и социальные характеристики?
4. «Рутинa мятежа»: повседневная жизнь участников массовых народных движений. Какие подходы к этой исследовательской проблеме можно считать востребованными?
5. Насколько соотносятся академические и художественные формы осмысления массовых народных движений? Каковы эффекты пересечения и конкуренции этих образов в общественном сознании?

Участники дискуссии:

Бойко Андрей Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений, Южный федеральный университет.

Иванеско Антон Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений, Южный федеральный университет.

Венков Андрей Вадимович, доктор исторических наук, профессор, заведующий лабораторией казачества, Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук; профессор Института истории и международных отношений Южного федерального университета.

Мауль Виктор Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, филиал Тюменского индустриального университета в городе Нижневартовске.

Посадский Антон Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор, Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Arnold Richard, PhD (Political Science), Associate Professor, Department of Political Science, Muskingum University.

Черницын Сергей Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент, независимый исследователь.

MASS MOVEMENTS IN HISTORICAL RESEARCH AND COLLECTIVE MEMORY

Abstract. The discussion analyzes the history of the study of mass protest movements, which are still shaking state institutions in many countries of the world. Since ancient times, their scale, composition of participants, their ideology, has distinguished popular movements but at the same time, they had a number of common features. The discussion focuses on issues related to popular movements in Russia during the 17th and 20th centuries. The questions of the formal classification of the hierarchy of popular movements from “uprising” to “people’s war” and their driving forces were previously considered the most urgent. Modern research focuses on the cultural and anthropological characteristics of a participant in the uprising, a “rebellious man”. Among its basic characteristics is belonging to the Russian peasantry with an established communal psychology and traditions of behavior. The possibility of such an approach is associated with the expansion of the range of sources, where, along with traditional written monuments and folklore texts, archaeological materials acquire importance. The study of the history of the insurgents’ everyday life, or “routine of rebellion” shows the importance of ethnographic approaches, including for the analysis of the phenomenon of modern “everyday nationalism” in the public life of the United States.

Keywords: mass popular movements, social protest, riot, uprising, rebellion, peasantry, Cossacks, everyday life, artistic images.

Questions of the discussion:

1. “Riot”, “rebellion”, “uprising” and “revolution”: how reliable are the boundaries of these and related concepts?
2. Are the situations when a mass movement is also an object of self-description unique and in demand by researchers?
3. What determines the personal, psychological and social characteristics of the “Man in Revolt” as a socio-anthropological type?
4. “The Routine of Revolt”. Which approaches to the research problem of the everyday life of mass movements members can be considered in demand?
5. To what extent are the academic and artistic forms of understanding of the mass movements correlated? What are the effects of intersection and competition of these images in the public mind?

Discussants:

Boyko Andrey L., Candidate of Science (History), Associate Professor, Institute of History and International Relations, Southern Federal University.

Ivanenko Anton E., Candidate of Science (History), Associate Professor, Institute of History and International Relations, Southern Federal University.

Venkov Andrey V., Doctor of Science (History), Professor, Head of Cossacks Laboratory, Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences; Professor, Institute of History and International Relations, Southern Federal University.

Maul' Viktor Ya., Doctor of Science (History), Professor, Nizhnevartovsk Affiliate, Industrial University of Tyumen.

Posadsky Anton V., Doctor of Science (History), Associate Professor, Professor, P.A. Stolypin Povolzhsky Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Arnold Richard, PhD (Political Science), Associate Professor, Department of Political Science, Muskingum University.

Chernitsyn Sergey V., Candidate of Science (History), Associate Professor, Independent Researcher.

ОЧЕРКИ (НЕ)РУССКОЙ СМУТЫ

А.Л. Бойко, А.Е. Иванеско

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к изучению массовых народных движений как форм социального протеста и политической борьбы. Дана характеристика концепций, выработанных в рамках социально-психологического и конфликтологического подходов. В статье анализируются принципиальные возможности этих концепций в отношении эмпирических исследований истории социальных движений. Описаны проблемы в терминологическом закреплении понятий «бунт», «мятеж», «восстание», «революция». В статье рассмотрены особенности изучения повседневности восставших на материале массовых народных движений XVII–XVIII вв., охарактеризовано значение археологических и этнографических источников в таком исследовании. Проведен анализ особенностей формирования литературно-художественного образа Степана Разина на материале творчества В.М. Шукшина.

Ключевые слова: социальный протест, политическое насилие, бунт, мятеж, восстание, повседневность восставших, лидеры общественных движений, художественные формы осмысления прошлого.

Бойко Андрей Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений, Южный федеральный университет, 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, alabama7008@yandex.ru.

Иванеско Антон Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений, Южный федеральный университет, 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, a.ivanenko@yandex.ru.

ESSAYS ON (NON)RUSSIAN TURMOIL

A.L. Boyko, A.E. Ivanenko

Abstract. The article analyzes various approaches to the study of mass popular movements as forms of social protest and political struggle. It characterizes the concepts developed within the framework of socio-psychological and conflictological approaches. The article analyzes the fundamental possibilities of these concepts in relation to empirical studies of the history of social movements. The article also describes the problems in the terminological consolidation of the concepts of "riot", "rebellion", "uprising", "revolution". The article examines the features of the study of the everyday life of the insurgents on the basis of mass popular movements of the 17th–18th centuries, it characterizes the importance of archaeological and ethnographic sources in such a study. The article analyzes the features of the formation of the literary and artistic image of Stepan Razin based on the material of V.M. Shukshin's works.

Keywords: social protest, political violence, riot, rebellion, uprising, insurgents' everyday life, leaders of social movements, artistic forms of comprehending the past.

Boyko Andrey L., Candidate of Science (History), Associate Professor, Institute of History and International Relations, Southern Federal University, 105/42, Bolshaya Sadovaya St., Rostov-on-Don, Russia, 344006, alabama7008@yandex.ru.

Ivanenko Anton E., Candidate of Science (History), Associate Professor, Institute of History and International Relations, Southern Federal University, 105/42, Bolshaya Sadovaya St., Rostov-on-Don, Russia, 344006, a.ivanenko@yandex.ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА: ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ

Одной из ключевых черт современного общества являются новые формы социальной дифференциации, возникновение новых социальных общностей и слоев, которые активно вступают в борьбу за распределение различных ресурсов — материальных, медийных, символических, стремятся утвердить свою повестку на локальном, национальном и даже глобальном уровне. Другие же слои в условиях глобализации экономики и культуры, ценностных сдвигов, развития новых коммуникативно-информационных технологий, специализации знания утрачивают свои прежние функции и статусы.

Скорость этих изменений, как представляется, превышает способности общества к нормальной адаптации, что порождает неустойчивость общественных настроений, рост социального напряжения, протестной активности и интенсифицирует конфликты различного уровня и форм. Причем эта реконфигурация пространства конфликтных и протестных действий характерна не только для обществ перехода, но и, казалось бы, социально и экономически благополучных западных демократий.

При этом большинство конкретных форм этих конфликтов сопровождает всю историю человечества, насколько в принципе хватает «глубины» наших источников — с момента появления феноменов авторитета, лидерства, власти, а они встречаются практически на любом уровне социально-политической организации общества. Другие же формы, как например, виртуальная протестная активность, основанная на новых технологиях коммуникации и, соответственно, новых способах мобилизации масс, — примета современности.

Социальный протест можно рассматривать как социально-психологический или поведенческий феномен, как деструктивный активизм толпы, обусловленный повышенной эмоциональной напряженностью и агрессивностью масс в условиях социального кризиса. Революция, как наиболее разрушительная форма протестного поведения, по определению Г. Лебона, есть результат массовой истерии [Лебон, 1991, с. 152].

Акцент в исследовании феномена социального протеста может быть смещен с психологических факторов массового поведения на социальные условия среды, разрушение доверия между социальными субъектами и представителями власти, неадекватный социальный контроль [Смелзер, 1994, с. 768–769].

Концепции коллективного поведения в изучении массовых социальных движений может быть востребована при помещении в фокус такого исследования поведенческих паттернов, коллективных эмоций, феномена радикальной жестокости восставших и их противников, лидеров движений как суггесторов.

К. Маркс понимал социальный протест как форму классовую борьбу — открытого столкновения социальных групп, реализующих свои экономические интересы:

«...всякая историческая борьба — совершается ли она в политической, религиозной, философской или в какой-либо иной идеологической области — в действительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных классов, а существование этих классов и вместе с тем их столкновения между собой в свою очередь обуславливаются степенью развития их экономического положения, характером и способом производства и определяемого им обмена» [Маркс, Энгельс, 1961, с. 259].

Р. Дарендорф полагал, что главным источником конфликта являются не экономические противоречия между социальными группами, а политические, обусловленные спецификой распределения власти, которое «неизменно становится определяющим фактором систематических социальных конфликтов» [Дарендорф, 1994, с. 143–145].

Классическая теория классовой борьбы давно не определяет методологию академического мейнстрима, но разработанность с этих позиций некоторых вопросов в изучении массовых народных движений, в частности, об их движущих силах, и понятийный аппарат теории могут представлять не только историографический интерес.

Важно отметить, что некоторые из конкретных форм, которые традиционно маркируются понятиями бунт, мятеж, восстание, включают обязательный компонент насилия и исторически выступают инструментами политической борьбы. Другие, как например, акции гражданского сопротивления, могут быть нацелены также на достижение политических результатов, но без применения насилия. Соответственно, помимо широкого контекста для ретроспективного взгляда на бунты, мятежи и восстания — контекста социального протеста, который можно понимать как специфическую форму социального действия субъектов, есть более узкий контекст — политической борьбы или даже политического насилия.

Т.Р. Гарр при анализе протеста и бунта фокусируется на внутривнутриполитической борьбе, которую он понимает, как противостояние и столкновение крупных социальных и этнических групп, составляющих единое общество. Т.Р. Гарр обобщает огромный эмпирический материал по множеству конкретных видов конфликта — от религиозных движений до партизанских войн — на значительной хронологической дистанции мировой истории — от Пуританской революции до эпохи деколонизации. В результате он выделяет три основные формы политического насилия: беспорядки (относительно спонтанное политическое насилие с реальным и значительным участием населения); заговор (высокоорганизованное политическое насилие с ограниченным участием населения, включая перевороты и мятежи); внутренняя война (высокоорганизованное политическое насилие с широкомасштабным участием населения, предназначенное для свержения режима или уничтожения государства, включая партизанские войны, гражданские войны и революции). Именно насилие выступает в концепции Т.Р. Гарра в качестве категории, позволяющей объединить понятия, относящиеся к разным формам политического действия: «...свойства и

процессы, которые отличают мятеж от революции, на обобщенном уровне анализа представляются различиями в степени, а не типах [Гарр, 2005, с. 44]».

Этот важный для историков и политологов вывод, вероятно, необходимо принимать во внимание при попытках терминологизировать понятия «бунт», «восстание», «мятеж» и «революция» [Новейший политологический..., 2010, с. 40–41, 58, 207]. Как представляется, недостижимость универсальных конвенций (даже в рамках одной дисциплины) в отношении их содержания, является мнимым препятствием, во всяком случае, в рамках эмпирически ориентированных исследований. Понимание глубоко идеологизированного взгляда на себя и оппонентов в текстах-самоописаниях и иноописаниях социальных движений («солнце правды» vs «воровские дела») принципиально важнее в стремлении реконструировать культурную ситуацию прошлого средствами его собственного языка.

Т.Р. Гарр сводит понимание протеста и бунта к трем ключевым факторам: недовольство и относительная депривация; убеждение в оправданности протестных действий и выгоды от их реализации; баланс между способностью недовольных действовать и способностью правительства реагировать. Таким образом, Т.Р. Гарр предлагает сконцентрироваться не на массовых социальных движениях как таковых, политических структурах или механизмах и эффектах политической мобилизации, а на индивидах: «...именно люди — со всеми их разнообразными идентичностями, желаниями и убеждениями — должны быть центром нашего анализа конфликта» [Гарр, 2005, с. 30].

Установка на изучение человеческого измерения конфликта может быть полезна в контексте персонификации массового движения в образе его лидера — Разина, Пугачева, Антонова, Махно, — часто находившей закрепление в фольклорном, официально-историографическом или пропагандистском клише. Фольклорному воплощению образа руководителей «крестьянских войн» XVII–XVIII вв., сложносочиненному на основе отобранных традицией личностных и типовых черт и элементов народной фантазии наследуют образы литературных, изобразительных и кинематографических произведений авторской культуры.

КАЗАЧЕСТВО, ВОССТАНИЕ, ИСТОЧНИК

Вопрос о бытийности «человека восставшего» относится к той части истории повседневности, которая еще только ищет своих исследователей. Среди изданий известных серий «Живая история: Повседневная жизнь человечества» (121 том) или «Культуры повседневности» (59 книг) сложно найти исследование рассматриваемое, предположим, «повседневную жизнь донского казака времени Степана Разина» или «московского горожанина бунташного века». Даже для хрестоматийного примера — описания жизни легендарного Спартака, основным источником остается роман Р. Джованьоли. При том, что повседневная жизнь гладиаторов, особенно позднеантичного времени изучена достаточно. Вероятно, и в этом следует искать

ответ на вопрос, почему даже в ленинском плане монументальной пропаганды двум легендарным борцам за народную свободу – Спартаку и Разину, нашлось место в списке революционеров всех времен, но долговременные скульптурные воплощения так и не были созданы. Сложно герою эпической мощи выйти за рамки народной памяти, найти исторически точное воспроизведение. Да и сегодня Спартак более привычен в образе героя легендарного пеплума или современного сериала, а Степан Тимофеевич многие годы по-хозяйски смотрел на потребителя с бутылки пива одноименного завода и даже конфетной обертки. В «серьезном» изобразительном искусстве утвердился канон, идущий от известной песни «Сон Стеньки Разина» – атаман изображался в глубокой задумчивости, будь то картина В.И. Сурикова (1906 г.) или статуя Е.И. Вучетича (1959 г.).

С другой стороны, именно эпоха революции и гражданской войны изменила отношение к отражению периода крестьянских восстаний в России во всенародно понимаемых символах и знаках. Показательно, что уже в 1920 г., сразу после победы красных над Вооруженными силами Юга России, инструктор КОПИС (Комитет по охране памятников искусства и старины Донского отдела народного образования) И.Б. Березарк (участник литературной группы «Ничевоки») зафиксировал предание о некоем «мемориале», очень напоминающем по описанию нечто вроде современных мест памяти (а-ля самодельные мемориалы Джорджа Флойда). В районе т.н. «Авиловых гор» (район современного г. Белая Калитва), среди местных жителей бытовала устная традиция о том, что легендарный разбойник «дед Авила есть Стенька Разин и в горах имеется хибарка с его пещерами, цепями и портретами» [ГАРО, ф. 2577, оп. 1, д. 8, л. 16].

Цепи, в этом рассказе, представляются не только символом векового угнетения и отображением неумолимого рока, но реальным предметом (двухпудовая «цепь Степана Разина») с XIX в. экспонируемым в притворе древнего Воскресенского войскового собора ст. Старочеркасской.

В советское время сама легендарная станица представлялась памятником борьбы за народную свободу, поскольку именно здесь, с разницей в 78 лет, родился С.Т. Разин и погиб К.А. Булавин. «Исторический музей имени Степана Разина» открытый 1 марта 1921 г. призван был стать местом сохранения реликвий классово-войсковой борьбы. Отсутствие средств на его содержание привело сначала к изменению статуса на «древлехранилище», а в июне 1924 г. и к закрытию «за неимением средств». Описи экспонатов показывают отсутствие среди коллекций реальных предметов времени народных движений XVII в. Последующие времена отложились в музее преимущественно как предметы быта «низовой» казачьей старшины, извечного оппонента восставших «голутвенных» казаков.

Специфика большинства этнографических коллекций состоит в том, что они, как правило, отражают существование определенного бытового стандарта, характерного для мирного времени, которому должна противопоставляться стихия народного выступления с присущими ей отличительными чертами. Они отчетливо виды

лишь во внешних проявлениях (знамена, награды, характерные черты формы) или отдельных типах вооружения, которые характеризуют тактику боя повстанцев. Акцент экспозиций делается на отсутствие качественных видов современного строевого оружия (к моменту конкретного народного выступления XVII–XX вв.), заменяемых вышедшими из широкого употребления или самодельными образцами. В качестве примера можно привести артиллерию «злодейского литья» армии Пугачева [Грибенюк, 1958, с. 103] или знаменитые повстанческие тачанки с агитационными надписями. Особо примечателен образец оружия народной войны – фабричный обрез трехлинейной винтовки Мосина с оригинальной «пистолетной» рукояткой в экспозиции Новочеркасского музея истории донского казачества (Инвентарный номер: НМИДК. ОФ 2795). В большинстве российских музеев, раскрывающих темы истории крестьянских восстаний XX в., витрины с материалами «антоновщины» или «колесниковщины» разграничивают отделы истории «России, которую мы потеряли» и советского периода.

Практически единственные источники, показывающие «рутину мятежа» до XIX в. или представляющие наиболее убедительные материалы к ее созданию, дают археологические раскопки. Природа самих вещественных источников такова, что материалы культурного слоя поселений и «закрытые» археологические комплексы (жилища, хозяйственные ямы) могут представить репрезентативную картину быта конкретного социума в определенный промежуток времени. Хрестоматийным примером является коллекция т.н. «Тушинского лагеря» Лжедмитрия II, собранная в начале XX в. и академически опубликованная спустя лишь век [Двуреченский, 2018]. Подмосковная ставка «тушинского вора» существовала относительно короткий промежуток времени, с июня 1608 по январь 1610 гг., и находки, собранные с ее территории, представляют собой уникальный набор различных типов вооружения, обмундирования, конской упряжи и орудий труда, связанных с бытом военного лагеря эпохи Смуты.

С начала 1950-х гг. преподавателями вузов Ростова-на-Дону (З.А. Витков, Ю.П. Ефанов, В.Е. Максименко) и сотрудниками Новочеркасского музея истории донского казачества (Л.А. Новак) велись масштабные поиски Кагальницкого городка – одной из столиц мятежного донского атамана, где Разин и был пленен 14 апреля 1671 г. Результат поисков достаточно противоречив – точно датированных находок XVII в. не выявлено, наиболее вероятно то, что остатки разрушенного городка окончательно уничтожены изменением конфигурации древних русел Дона и его притоков. Но выявлен круг памятников, датируемых XVIII в., в том числе и временем восстания К.А. Булавина (1707–1708 гг.). Эти находки представляют несомненный интерес своей корреляцией с синхронными или более поздними памятниками Кубани и Предкавказья, куда ушли остатки разгромленных казачьих отрядов под руководством И. Некрасова.

Комплекс археологических находок позволяет говорить о высоком уровне благоустройства большинства построек «низового» казачьего городка, вплоть до использования изразцовых печей. Еще более важны выводы о изменении основных

занятий казачества в XVIII в., доминированию «оседло-земледельческого» типа хозяйства и значительному росту населения донских станиц [Витков, 1958, с. 152, 178], т.е. в целом благоприятном общественно-экономическом фоне, сделавшем подавляющую часть казачества, причем не только донского, лояльной императорской России.

Эти изменения сложно было учитывать создателям эпических картин народных выступлений XVII–XVIII вв. В.М. Шукшин, тщательно подходивший к выбору природы для съемок так и не начатого производством фильма «Я пришел дать вам волю» (в первой сценарной заявке 1966 г. – «Конец Разина»), посетил предполагаемое место драматических событий 1666–1671 гг. В романе хорошо «читается» знакомство автора с археологическими реалиями описываемого времени: «Копали землянки (неглубокие, в три-четыре бревна над землей, с пологими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду)» [Шукшин, 1998b, с. 136]. Но это один из редких примеров умелого использования конкретно исторического материала в ткани литературного произведения, не вызывающий отторжения читателя своей реальной научностью. Уместнее вспомнить творческий метод, названный В.А. Пьецухом «ромматом» – «романтическим материализмом» [Пьецух, 1990], предполагающим не постижение «художественных истин», а их создание, движение от авторской концепции исторического процесса к конкретному, зачастую реконструируемому факту. Вплоть до «Великой крестьянской войны», которая могла стать итогом победившего выступления 14 декабря 1825 г. Этот подход и делает исторический роман приемлемым для широкой аудитории, не исключая и использования (при наличии) мемуарно-описательного материала.

Возвращаясь к творчеству В.М. Шукшина, надо вспомнить ту роль, которую сыграл образ донского атамана в творчестве и судьбе писателя. В фильме «Калина красная» внешний образ Егора Прокудин иронично сопоставлен с мятежным атаманом «Видали мы таких... разбойников! Стенька Разин нашелся» [Шукшин, 1998a, с. 376]. Но образ рецидивиста по кличке «Горе», утратившего связь с историческими корнями и теперь мучительно ищущего правду, действительно духовно близок к образам прославивших Шукшина правдоискателей – «чудиков». Тех, кто и в XX в. готов был пожертвовать всем за «стремление к общей Правде», понимаемой в XVII–XVIII вв. как «воля» – действенное стремление к справедливости на земле. Недаром, как считал прозаик О. Павлов «Шукшин был “опасен”, именно в нем могло произойти превращение художника в вождя открытого крестьянского сопротивления» [Варламов, 2015, с. 209].

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Варламов А.Н. Шукшин. М.: «Молодая гвардия», 2015. 398 с.

Витков З.А. К вопросу о местоположении донских казачьих городков и их культуре (В связи с археологической разведкой) // *Ученые записки Мурманского государственного педагогического института*. 1958. Т. II. Вып. 2. С. 151–198.

- Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005. 461 с.
- Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 2577. Оп. 1. Д. 8.
- Гребенюк Н.Е. Артиллерия в крестьянской войне под руководством Е.И. Пугачева // Сборник исследований и материалов Артиллерийского исторического музея. Вып. III. Л.: Изд-ие Артиллерийского исторического музея, 1958. С. 101–189.
- Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. № 5. С. 142–147.
- Двуреченский О.В. Тушинский лагерь (Публикация коллекции В.А. Политковского из собрания ГИМ). М.: ИА РАН, 2018. 196 с.
- Камю А. Бунтующий человек: философия политика, искусство. М.: Изд-во полит. литературы, 1990. 414 с.
- Лебон Г. Мнения и верования толпы // Философская и социологическая мысль. 1991. № 6. С. 119–152.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 21. 745 с.
- Новейший политологический словарь / Авт.-сост. Д.Е. Погорельый, В.Ю. Фесенко, К.В. Филиппов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 318 с.
- Пьецух В.А. Роммат: Роман-фантазия на историческую тему. М.: СП «Вся Москва», 1990. 160 с.
- Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. М.: Феникс, 1994. 688 с.
- Соломатина Е.Н. Социальные протесты в современном мире: социологический анализ // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. 2014. № 1(33). С. 103–107.
- Тард Г. Общественное мнение и толпа / Пер. с фр. под ред. П.С. Когана. М.: Изд-во Т-ва типографии А.И. Мамонтова, 1902. 414 с.
- Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. 204 с.
- Шукшин В.М. Калина красная // Шукшин В.М. Собр. соч. в 3-х т. Т. 2. Элиста: Джангар, 1998а. С. 357–424.
- Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю // Шукшин В.М. Собр. соч. в 3-х т. Т. 2. Элиста: Джангар, 1998б. С. 5–354.

REFERENCES

- Varlamov A.N. *Shukshin* [Shukshin]. Moscow: "Molodaya gvardiya", 2015. 398 p. (in Russian).
- Vitkov Z.A. K voprosu o mestopolozhenii donskikh kazach'ikh gorodkov i ikh kul'ture (V svyazi s arkheologicheskoi razvedkoi) [On the question of the location of the Don Cossack towns and their culture (In connection with archaeological exploration)], in *Uchenye*

zapiski Murmanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. 1958. T. II. Vyp. 2. Pp. 151–198 (in Russian).

Garr T.R. *Pochemu lyudi buntuyut* [Why do people rebel]. St. Petersburg: Piter, 2005. 461 p. (in Russian).

Gosudarstvennyi arkhiv Rostovskoi oblasti (GARO). F. 2577. Inv. 1. D. 8.

Grebenyuk N.E. Artilleriya v krest'yanskoi voine pod rukovodstvom E.I. Pugacheva [Artillery in the peasant war under the leadership of E.I. Pugacheva], in *Sbornik issledovaniy i materialov Artilleriiskogo istoricheskogo muzeya* [Collection of research and materials of the Artillery Historical Museum]. Is. III. Leningrad.: Izd-ie Artilleriiskogo istoricheskogo muzeya, 1958. Pp. 101–189 (in Russian).

Darendorf R. Elementy teorii sotsial'nogo konflikta [Elements of the theory of social conflict], in *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 1994. No. 5. Pp. 142–147 (in Russian).

Dvurechenskii O.V. *Tushinskii lager'* (*Publikatsiya kolleksii V.A. Politkovskogo iz sobraniya GIM*) [Tushino camp (Publication of the collection of V.A. Politkovsky from the collection of the State Historical Museum)]. Moscow: IA RAN, 2018. 196 p. (in Russian).

Kamyu A. *Buntuyushchii chelovek: filosofiya politika, iskusstvo* [Rebellious Man: Philosophy, Politics, Art]. Moscow: Izd-vo polit. literatury, 1990. 414 p. (in Russian).

Lebon G. Mneniya i verovaniya tolpy [Opinions and beliefs of the crowd], in *Filosofskaya i sotsiologicheskaya mys'*. 1991. No. 6. Pp. 119–152 (in Russian).

Marks K., Engel's F. *Sochineniya* [Works]. Second edition. Vol. 21. Moscow: Gospolitizdat, 1961. 745 p. (in Russian).

Noveishii politologicheskii slovar' [The latest political science dictionary]. Comp. D.E. Pogorelyi, V.Yu. Fesenko, K.V. Filippov. Rostov-na-Donu: Feniks, 2010. 318 p. (in Russian).

P'etsukh V.A. *Rommat: Roman-fantaziya na istoricheskuyu temu* [Rommat: A fantasy novel on a historical theme]. Moscow: SP "Vsya Moskva", 1990. 160 p. (in Russian).

Smelzer N. *Sotsiologiya* [Sociology]. Moscow: Feniks, 1994. 688 p. (in Russian).

Solomatina E.N. Sotsial'nye protesty v sovremennom mire: sotsiologicheskii analiz [Social protests in the modern world: sociological analysis], in *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Ser. Sotsial'nye nauki*. 2014. No. 1(33). Pp. 103–107 (in Russian).

Tard G. *Obshchestvennoe mnenie i tolpa* [Public opinion and crowd]. Transl. P.S. Kogana. Moscow: Izd-vo T-va tipografii A.I. Mamontova, 1902. 414 p. (in Russian).

Turen A. *Vozvrashchenie cheloveka deistvuyushchego. Ocherk sotsiologii* [The Return of the Acting Man. Essay on Sociology]. Moscow: Nauchnyi mir, 1998. 204 p. (in Russian).

Shukshin V.M. Kalina krasnaya [Kalina red], in Shukshin V.M. *Sobr. soch. v 3-kh t.* [Collected works in 3 volumes]. Vol. 2. Elista: Dzhangar, 1998a. Pp. 357–424 (in Russian).

Shukshin V.M. Ya prishel dat' vam volyu [I have come to give you free rein], in Shukshin V.M. *Sobr. soch. v 3-kh t.* [Collected works in 3 volumes]. Vol. 2. Elista: Dzhangar, 1998b. Pp. 5–354 (in Russian).

«ПИТЬ И ГУЛЯТЬ, СКОЛЬКО ДУШЕ УГОДНО, НЕ ДАВАЯ НИКОМУ В ПОВЕДЕНИИ СВОЕМ ОТЧЕТА»¹

А.В. Венков

Аннотация. В статье народные движения рассматриваются как реакция подавляющего большинства сельского населения на попытки разрушить их устоявшийся мир, а также анализируется феномен «воли», как его понимало крестьянство. Степан Разин, «пришедший дать волю», с точки зрения казачьей верхушки, был нарушителем казачьего обычного права. Русская интеллигенция романтизировала стремление народа к воле, не видела, что это реакция на систему запретов, которая дает возможность выжить в тяжелых условиях. Последним проявлением «русского бунта» стали революция 1917 г. и Гражданская война. Население России к тому времени раскололось на два неравных по количеству лагеря, причем подавляющее большинство представляло крестьянство с общинным менталитетом, видевшее выход из противостояния в уничтожении противника. Современники считали, что большевики используют в своих целях все отрицательные стороны «русского бунта». Вопреки устоявшимся представлениям, крестьянский бунт в России победил, и установившееся в Советской России, а затем в СССР, новое общество носило на себе отпечаток крестьянского «мира» с его общинными ценностями, а провозвестники народной революции в России ужаснулись, когда увидели, кто пришел к власти.

Ключевые слова: бунт, локальный мир, менталитет, мораль, крестьянство.

Венков Андрей Вадимович, доктор исторических наук, профессор, заведующий лабораторией казачества, Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41; профессор, Институт истории и международных отношений, Южный федеральный университет, 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, andrey_venk@rambler.ru.

¹ Статья подготовлена в рамках государственного задания ЮНЦ РАН на 2021 г. (00-21-15, № госрегистрации АААА-А20-120122990111-9).

“DRINK AND HAVE FUN AS MUCH AS YOU LIKE, WITHOUT GIVING ANYONE AN ACCOUNT OF YOUR BEHAVIOR”

A.V. Venkov

Abstract. In the article, popular movements are considered as a reaction of the vast majority of the rural population to attempts to destroy their established world. The phenomenon of “will”, as it was understood by the peasantry, is considered. Stepan Razin, who “came to give free rein”, from the point of view of the Cossack elite, was a violator of the Cossack customary law. The Russian intelligentsia romanticized the desire of the people for freedom (“will”), did not see that this is a reaction to the system of prohibitions, which makes it possible to survive in difficult conditions. The last manifestation of the “Russian revolt” was the revolution of 1917 and the Civil War. The population of Russia by that time was split into two unequal camps, with the vast majority representing the peasantry with a communal mentality, who saw a way out of the confrontation in the destruction of the enemy. Contemporaries believed that the Bolsheviks used all the negative aspects of the “Russian revolt” for their own purposes. Contrary to the established ideas, the peasant revolt in Russia won, and the new society established in Soviet Russia, and then in the USSR, bore the imprint of the peasant world with its communal values. And the heralds of the people’s revolution in Russia were horrified when they saw who had come to power.

Keywords: Revolt, local world, mentality, morality, peasantry.

Venkov Andrey V., Doctor of Science (History), Professor, Head of Cossacks Laboratory, Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, 41, Chekhova Ave., Rostov-on-Don, 344006, Russia; Professor, Institute of History and International Relations, Southern Federal University, 105/42, Bolshaya Sadovaya St., Rostov-on-Don, 344006, Russia, andrey_venk@rambler.ru.

Вектор нашей дискуссии задан названием романа В. Шукшина «Я пришел дать вам волю». Роман посвящен разинскому движению, сложному явлению второй половины XVII в. Сам Степан Тимофеевич Разин был охарактеризован Александром Сергеевичем Пушкиным в одном из писем к брату Льву Сергеевичу как «единственное поэтическое лицо русской истории» [Пушкин, 1977, с. 112]. Александр Сергеевич даже стихотворение о нем написал, где были утопленная персидская царевна и призыв самой «погодушки»:

«Молодец удалой, ты разбойник лихой,
Ты разбойник лихой, ты разгульный буян,
Ты садись на ладьи свои скорые,
Распусти паруса полотняные,
Побеги по морю по синему...».

И есть русская песня «Из-за острова на стрежень» на слова Дмитрия Садовникова, считающаяся народной. По всем критериям она относится к городскому романсу.

Казачи же в станицах эту песню поют крайне редко, а если поют, то после каждого куплета добавляют припев:

«Ах, ёлки-моталки,
Просил я у Наталки,
Просил я у Наталки
Колечко поносить... и т.д.».

То есть, ни сюжет, ни сама личность «разудалого атамана» не одобряются. Почему? Складываясь в тяжелейших условиях выживания, казачье сообщество закон (понимаемое ими и созданное ими местное обычное право) ставило выше человека и уж, тем более, выше материальных благ. Кто же такой Степан Разин, выданный русским властям своим крестным отцом, с точки зрения этого закона?

Он был походным атаманом, который после возвращения из похода не распустил свое войско, а создал практически параллельную административную структуру: «У дяди свое войско, у меня свое будет». Когда Юлий Цезарь сотворил подобное, возвращаясь из похода, — перешел с войском пограничную речку Римской Республики — в Риме началась гражданская война.

Но донская войсковая верхушка перемолчала. В поход обычно уходили две трети боеспособных казаков, а треть обязательно оставалась охранять свои городки. Так что, в случае вооруженного конфликта, соотношение сил было бы два к одному в пользу Разина.

Разин же, как зачитали ему перед казнью его «вины», «говорил про Спасителя нашего Иисуса Христа всякие хульные слова и на Дону церковью божьих ставить и никакого пения петь не велел, и священников с Дону сбил, и велел венчаться около вербы... и старых донских казаков, самых добрых людей переграбил, и многих

побил до смерти и в воду посажал» [Венков, 2017, с. 222]. То есть, перед нами вяло-текущая попытка переворота и откат от официальной церкви в язычество.

В следующий поход Степан Разин с тем же «своим» войском пошел уже не на Каспий, а вверх по Волге — на Россию. И вот здесь крестьяне, которым он «пришел дать волю», были ему рады.

Но русские войска Разина разбили, он бежал на Дон, и здесь был схвачен, закован в «освященные» цепи и до выдачи в Москву содержался в церковном притворе знаменитого Старочеркасского собора. Эти цепи до сих пор висят при входе в Собор.

Если он был популярен, и даже любим народом, то почему ж его не отбили? Да потому, что он нарушил главные войсковые законы, уложил две трети казаков в боях с русской армией и тем самым вынудил оставшуюся треть целовать крест на верность России, чего казаки до этого не делали. Кстати, в сентябре 2021 г. исполнится 350 лет со дня этого крестоцелования, с начала настоящей службы казаков России.

Он пришел дать народу волю... Итак, что такое «народ» и что такое «воля»?

Во время разинского выступления подавляющее большинство населения России жило общиной. Патриархальная община имела целую систему ценностей.

Жизнь в тяжелейших условиях, в условиях выживания явно высветила бóльшую ценность коллектива, сообщества, по сравнению с отдельной личностью. Это просматривается на протяжении всей истории общины. «Нельзя забывать, что и до большевистского эксперимента Россия страдала от дефицита чувства личности, дефицита достоинства личности у народных масс» [Ципко, 2006].

Видимо, с момента возникновения общины сложились ценности общинного мира, известные нам по огромному количеству источников. Община — локальный мир. Целый мир. Община на Руси и называлась «мир». «Мир» ограничен. Он является высшей ценностью и высшим судьей.

В общине каждый всех знал. Связи были построены на эмоциональных отношениях. Все виды деятельности осуществлялись на личном контакте. Общество было подконтрольно каждому.

Нравственный идеал жизни в общине — правда. Только полное взаимное доверие дает гарантию коллективного выживания в экстремальных условиях. Только полная ясность во взаимоотношениях и в оценке окружающего мира способствуют этому выживанию.

Высший идеал общины — правда и воля. Причем воля — не свобода и ответственность. Под волей понимается возможность и право делать как раз то, что запрещено естественной моралью и нормами общества, и не делать того, что

требуется – «Пить и гулять, сколько душе угодно, не давая никому в поведении своем отчета» [Ахиезер, 1991, с. 204]. Естественно – стремление к такой «воле» является собой отдушину в рамках жестко регламентированной жизни в условиях выживания. Не случайно «воля» – высший, практически недостижимый идеал. Видимо, угадав в Разине стремление к недостижимому идеалу, поэт и назвал его «самым поэтическим лицом русской истории».

Конечно же жить в жесткой системе запретов (даже если только благодаря им и можно выжить) порой становится невыносимо. И тогда возникает непреодолимое желание той самой «воли». В чем она проявляется?

Внешний мир в сознании членов общины враждебен. Для общины, как и для каждой отдельной цивилизации, образ мира был черно-белым – «Мы» и «Они», «Свои» и «Чужие», причем последние всегда считались априори враждебно настроены по отношению к «своим». Быть «своим» означало принять их систему ценностей, значений и смыслов, отказавшись тем самым от своих собственных, сохранить же своеобразие означало стать «чужим» со всеми вытекающими отсюда последствиями» [Пенская, 2004, с. 201]. То есть, искомую отдушину можно найти в отношении с «чужими», с врагами. Тем более, что характерная черта всех общин – полное оправдание своей деятельности. С врагами можно делать все, что угодно.

Средством борьбы общины в случае посягательства на ее ценности (посягать на святое могут только «чужие») традиционно становился «русский бунт», страшный «своей неконструктивностью, попыткой решить все посредством массового избиения людей, уничтожением всего того, что поднимается над серым средним уровнем... Речь идет главным образом о стремлении всех уравнять, учинить разгром утилитаризму, а затем согласиться с еще худшей тиранией, которая бы спасла людей от самих себя» [Ахиезер, 1991, с. 317–318]. То есть – от покорности к разрушению и опять к покорности.

Во времена общих испытаний ценности локального мира переносились на все государство, а когда государство начинало «душить» малый локальный «мир», против государства восставали. И нарушителя закона, Разина, русские крестьяне встретили как освободителя. Восстанию нужен вождь. Его общинники берут со стороны, чтоб свои друг другу не завидовали. Этого приглашенного со стороны потом можно сдать без угрызений совести.

Следующий широко известный «русский бунт» относится к XVIII в. Крестьяне подушно переписывались и прикреплялись к помещику либо к государству. При этом помещики, которые при Петре I были обязаны поголовно служить, при Петре III и Екатерине II освобождаются от обязательной службы. Начинается раскол между жизненно важными слоями общества. Естественным итогом его было противостояние.

Екатерина II поддерживала либеральные идеалы. При ней возникла духовная элита, которая культивировала высшие духовные ценности и вела диалог с правящей

элитой. Но, поддерживая либеральные идеалы среди верхов общества, Екатерина не сгладила глобальный раскол и не ликвидировала противостояние.

Противовесом Екатерине II в глазах народа стал Емельян Пугачев, «царь избавитель», призывающий жить «яко звери лесные», убивать дворян, «и жен их, и детей их». Противостояние, выливающееся в «русский бунт», видит выход в уничтожении другого лагеря. Пугачева, кстати, тоже сдали.

И последний «русский бунт», который таковым еще не осознан и не назван. В 2017 г. в России отмечалось столетие такого события как революция 1917 года, а в 2020 г. исполнилось 100 лет окончания Гражданской войны на Юге России. Прошедшие научные форумы, посвященные этим событиям, назвали события 1917 г. «Великой российской революцией» [Великая российская революция..., 2017]. Вновь прозвучал термин «смута», которым одним из первых характеризовал революцию и гражданскую войну А.И. Деникин, и этот термин, как оценку событий того периода, повторил в своей работе В.П. Булдаков [Булдаков, 2010]. Сравнения революции и Гражданской войны, объединенных общим названием «Красная смута», и событий 1598–1613 гг. имели место на международных конференциях [Смутные времена в России..., 2018].

Но прозвучала и другая точка зрения. И.О. Тюменцев считает, что революция 1917 года и Гражданская война 1918–1922 гг. по движущим силам и итогам были классической крестьянской войной [Тюменцев, 2017, с. 15]. На это четко указывает социальная структура российского общества того времени.

Уже в начале XIX в. российская аристократия (да и все дворянство) разительно отличалась и культурной направленностью, и менталитетом, и стереотипом поведения, и даже языком от основной массы населения. Впоследствии воздействию иных культурных традиций подверглась порвавшая со своей социальной средой разночинная интеллигенция. В результате в XIX в. оформляются две «культуры» русского народа, а точнее — происходит вычленение сложной по своему происхождению культурной традиции верхушки русского общества, которую все время считали и считают «великой русской культурой». В этом отношении с одной стороны, налицо был разрыв «верхов и низов»; с другой стороны, новое, во многом искусственное сообщество оказалось заражено «бациллой» саморазрушения, которая стремительно прогрессировала. Венчая индивидуализм российской интеллигенции, поэт Валерий Брюсов заявляет:

«...Родину я ненавижу,
Я люблю идеал человека...».

«О том, что страна разделена на «общество» и «народ» и что это добром не кончится, говорили у нас многие и много. Это и кончилось злом» [Гумилев, Панченко, 1990, с. 123].

В начале XX в. ситуация в стране предельно обострилась. Одни были полны надежд, другие переполнены тревогой. Рост производства и упадок духовности.

Пьянство, обнищание. Рушатся основы. Прагматики спешат разрушить «старое», которое, как им кажется, мешает расти «новому» (П.А. Столыпин и его реформа). А для большинства это «старое» — смысл и содержание жизни. Сама жизнь. Каждый второй житель страны — бедный крестьянин, стоящий на грани разорения.

Начинается Мировая война, и этих крестьян, стоящих на грани разорения, государство вооружает и сводит в батальоны, полки, дивизии...

Удачно проведенный верхушечный переворот (отречение Николая II) приводит к взрыву.

В результате очередного военного переворота большевики захватили власть в столице. Пытаясь привлечь народ на свою сторону, они, согласно «Декрету о земле» отменили частную собственность на землю, конфисковали землю помещиков. Всю землю объявили общенародным достоянием. В результате 98% земли отошли в руки общины. Последовавший через несколько месяцев «Декрет о социализации земли» уравнивал землю внутри общины. Община победила. Попутно разрушалось ненавистное крестьянам помещичье хозяйство. С точки зрения аграрного развития страна откатилась в дофеодальный строй. Вот тогда крестьяне и показали, что такое «воля» и как они ее понимают.

А.М. Горький писал: «Наша революция дала полный простор всем дурным и звериным инстинктам»; «Я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отношусь к русскому человеку у власти, — недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой близкого своего» [Горький, 1990, с. 177]. В стране забушевала «гигантская стихия расправы, возмездия» [Гефтер, 1990, с. 15].

Во многом сложившаяся ситуация напоминала национально-освободительную войну, когда основная масса народа рассматривала «элиту» и интеллигенцию, как враждебную, иную нацию.

И в ответ многие белые офицеры видели врагом все крестьянство. Как вспоминал офицер-артиллерист, воевавший на юге современной Украины: «Фактически все крестьяне были махновцами и принимали участие в боях. Когда же дело оборачивалось для них плохо, они разбегались, прятали оружие и превращались в мирных обывателей. Поэтому борьба с ними была трудна» [Мамонтов, 2018, с. 115].

Современники обвиняли во всех этих темных делах большевиков: «Ленин вводит в России социализм по методу Нечаева, — писал А.М. Горький, — на всех парах через болото». И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к гибели в трясине действительности, очевидно убеждены вместе с Нечаевым, что «правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно», и вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бои, понукая к погромам и арестам ни в чем не повинных людей» [Горький, 1990, с. 150].

Захватывая власть в России, верхушка большевиков осознавала, что страна не готова к социалистической революции. Власть бралась для того, чтобы подтолкнуть революцию в Европе, опираясь на мощь России и на российскую революционную стихию. Однако мировой социалистической революции не произошло, хотя империи в Европе и рухнули.

В ходе самой революции в России партия большевиков переродилась. Она выросла в 10 раз. Значительную часть вступивших в нее членов составляли крестьяне. Состоявшая на 80% из крестьян Красная Армия имела настроение и состав далеко не коммунистические. У Александра Фадеева в романе «Разгром» одному из главных положительных героев, Морозке, коммунизм (идеальное общество), за наступление которого он сражается, видится как большая, веселая, благополучная деревня. В 1920 г. 1-я Конная армия – ударный кулак большевиков, – выйдя к границам, просто не пошла в Европу [РГАСПИ, ф. 17, оп. 65, д. 475, л. 66].

Пытаясь удержаться у власти, большевистская партия пыталась проповедовать некий «идейный симбиоз» псевдонаучных положений и народных представлений. Они заявляли, что народная правда равна научной истине, свобода равна воле, демократия равна самоуправлению, а новая партия (большевики) якобы одна владеет правдой. И уже после Гражданской войны детский писатель А.П. Гайдар писал, что красные сражались «за светлое царство социализма». Прямо-таки за «Светлое Христово Воскресение».

Еще в средней школе, «при коммунистах», на уроках истории задавался риторический вопрос: «А что было бы, если бы Пугачев победил?». Учителя отвечали, что история не имеет сослагательного наклонения, что победа крестьян была невозможна, но они расшатывали опоры самодержавия, и в этом положительная сторона крестьянских войн. А потом рабочие свергли расшатанную царскую власть, и мы начали строить социализм. И было это совершенно закономерно, ибо именно он следует за капитализмом.

Но давайте вернемся к концу Гражданской войны.

В целом социальная структура страны упростилась. Помещики, буржуазия, интеллигенция, высшие чиновники были либо выбиты, либо изгнаны. Рабочий класс расплылся и к 1921 г. вместе с семьями составлял 2% населения. Противостоящий культурный слой (химерический по своей сути) был разгромлен и выброшен из страны. Как считал Н. Бердяев, «русская революция хотела бы истребить весь культурный слой наш, утопить его в естественной народной тьме» [Бердяев, 1990, с. 126]. Важнейшими составляющими социальной структуры страны стали крестьяне-общинники и чиновники.

В.П. Данилов, известный специалист по истории крестьянства, отмечал, что крестьяне к 1922 г. добились всего, за что они боролись. Община стала господствующей формой землевладения и землепользования. Большевики, опираясь на ту же Красную армию (в которой 80% крестьяне), жестоко подавили в 1920–1921 гг. такие

мощные крестьянские восстания, как «антоновщина» и «махновщина», но, в свою очередь, отказались от продрозверстки, ввели НЭП, признали особые интересы и права деревни. Фактически они удовлетворили основные требования крестьянских повстанцев. «Земельный кодекс РСФСР, принятый в декабре 1922 г., закрепил итоги осуществленной самим крестьянством аграрной революции. Социалистическое земельное законодательство 1918–1920 гг. было отменено. Решение земельного вопроса вновь приводилось в соответствие с требованиями крестьянского наказа 1917 г.» [Данилов, 1996, с. 23].

Вот так крестьянская война победила. Но победой крестьяне наслаждались недолго, она вскоре обернулась страшным поражением (коллективизация и т.п.). Победившее крестьянство не смогло (да, видимо, и не могло) создать государственную власть, отвечающую его интересам. Вообще-то история не знает примеров, чтобы крестьянство само смогло создать такую власть. Функции государственной власти оно всегда кому-либо перепоручало. Так, в первые годы существования нового «рабоче-крестьянского» государства в его руководстве около 30% составляли представители городской интеллигенции, дети предпринимателей, дворян и священников. На самом раннем этапе таковых было вообще 40% [Вишневский, 1997, с. 39]. И тот же А.М. Горький, «буревестник революции», в 1921 г. заявлял: «Мужик, извините меня, все еще не человек. Он не обещает быть таковым скоро» [Чуковский, 1991].

И предчувствовал грядущие столкновения: «Я чувствую, я ... недавно был на съезде деревенской бедноты – десять тысяч морд – деревня и город должны непременно столкнуться, деревня питает животную ненависть к городу, мы будем как на острове, люди будут осаждены. Здесь даже не борьба – дело глубже... здесь как бы две расы...». И далее – о русском мужике: «Ничего не поделаешь. Наш враг... Наш враг...» [Чуковский, 1991].

Но был «Ленинский призыв» в партию. Создавался новый слой бюрократии, которая пользовалась бы доверием народа. Рабочих от станка не отрывали. А вот «сельский пролетариат» брали в руководство, достаточно было твердить: «Я батрак и я неграмотен». И через 20–25 лет после победы революции большую часть правящего слоя СССР составляли выходцы из деревни. «С 1940 г. по 1980 г. выходцы из крестьян в руководстве партии пролетариата явно преобладали» [Вишневский, 1997, с. 39].

Сбылись опасения А.М. Горького. Эти выходцы действительно оказались «самыми разнузданными деспотами». Коллективизацию такими методами проводили... Интеллигенцию в 1937-м так отстреливали...

Но для нас главное в этой ситуации, что подавляющее большинство населения России после Гражданской войны составляли носители крестьянского общинного менталитета, носители ценностей общинного мира в целом. А вовлекаемое в государственную жизнь крестьянство неизбежно должно было (в который раз) перенести ценности общинного мира на все государство. А это осознанное право вмешиваться в жизнь других, в каждую мелочь, если от этого вмешательства (как

ты считаешь) зависит сохранение «мира». Но если это делать повсеместно и постоянно в масштабах всего государства, то это... тоталитарный режим.

Таким образом, любое народное восстание – это стремление противостоять разорительным для большинства нововведениям и вернуться к старому. В такой ситуации доминирует идеал «воли», когда с противником, с «чужим» позволено все. Уставшая жить в жестких рамках запретов (необходимых для выживания) толпа шарахается в другую крайность. Но – временно... И главарь бунта, приглашенный товарищ, «страдалец за народ», зная (или чуя), что сдадут, презирает или даже с определенного момента ненавидит пригласивших его людей. Прямо как А.М. Горький, который якобы был выходец из народа (хотя папа у него был судовладелец). Вот так и идет страшное для большинства людей движение вперед, к светлому будущему.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: в 3 т. Т. 1. М.: ФО СССР, 1991. 1031 с.
- Бердяев Н. Духи русской революции // *Литературная учеба*. 1990. № 2. С. 123–139.
- Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. 967 с.
- Великая российская революция, 1917: 100 лет изучения: материалы международной научной конференции (Москва, 9–11 октября 2017 г.)*. Ред. коллегия: А.Н. Артизов и др. М.: ИРИ РАН, 2017. 806 с.
- Венков А.В. Азовское сидение. Героическая оборона Азова в 1637–1642 гг. М.: Вече, 2017. 336 с.
- Вишневский А. Высшая элита РКП(б)–ВКП(б)–КПСС (1917–1989): немного статистики // *Мир России*. 1997. № 4. С. 38–44.
- Гефтер М. Живое мертвое // *Знание – сила*. 1990. № 7. С. 14–15.
- Горький А.М. Несвоевременные мысли. Заметки о культуре и революции. М.: Советский писатель, 1990. 400 с.
- Гумилев Л.Н., Панченко А.Н. Чтобы свеча не погасла. Л.: Советский писатель, 1990. 128 с.
- Данилов В.П. Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг. // *Крестьяне и власть. Материалы научной конференции*. М.–Тамбов: Тамбовский гос. технический университет, 1996. С. 4–23.
- Мамонтов С.И. Походы и кони. М.: АСТ, 2018. 448 с.
- Пенская Т.М. Власть, православная церковь и общество в Киевской Руси: проблемы взаимоотношений // *De die in diem: памяти А.П. Пронштейна (1919–1998)* / отв. редакторы: А.В. Лубский, В.В. Черноус. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. С. 195–205.

- Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 т. Т. 9. М.: Худ. лит-ра, 1977. 448 с.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 17. Оп. 65. Д. 475.
- Смутные времена в России начала XVII и начала XX столетий: природа и уроки. Международная научная конференция 60-летию со дня рождения профессора И.О. Тюменцева. Волгоград, 1–14 октября 2018 г.* Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2018. 440 с.
- Тюменцев И.О. Социально-экономическая природа русской Смуты начала XVII столетия: к вопросу о незаконченной дискуссии о крестьянских войнах в России // *Казачество России в бунтах, смутах и революциях (к столетию событий 1917 года. Материалы Всероссийской научной конференции. Ростов-на-Дону, 4–5 октября 2017 г.* Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. С. 9–18.
- Ципко А. Третье Средневековье // *Литературная газета*. 2006. № 13. 29 марта–4 апреля. С. 1.
- Чуковский К. Дневник. (1901–1929). М.: Советский писатель. 1991. 541 с.

REFERENCES

- Akhiezer A.S. *Rossiya: kritika istoricheskogo opyta: v 3 t. T. 1.* [Russia: criticism of historical experience : in 3 vols. Vol. 1. Moscow: FO SSSR, 1991. 1031 p. (in Russian).
- Berdyaev N. *Dukhi russkoy revolyutsii* [Spirits of the Russian Revolution], in *Litopatynnaya ucheba*, 1990. No. 2. Pp. 123–139 (in Russian).
- Buldakov V.P. *Krasnaya smuta Priroda i posledstviya revolyutsionnogo nasiliya* [Red Turmoil. The nature and consequences of revolutionary violence]. Moscow: ROSSPAN; Foundation “Presidential Center of B.N. Yeltsin”, 2010. 967 p. (in Russian).
- Velikaya rossiiskaya revolyutsiya, 1917: 100 let izucheniya: materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Moskva, 9–11 oktyabrya 2017 g.)* [The Great Russian Revolution, 1917: one Hundred Years of Study Proceedings of the International Conference. Scientific conference (Moscow, October 9–11, 2017). Moscow: IRI RAN, 2017. 808 p. (in Russian).
- Venkov A.V. *Azovskoye sideniye. Geroicheskaya oborona Azova v 1637–1642 gg* [The Azov seat. The Heroic Defense of Azov in 1637–1642]. Moscow: Veche, 2017. 336 p. (in Russian).
- Vishnevsky A. *Vysshaya elita RKP(b)–VKP(b)–KPSS (1917–1989): nemnogo statistiki* [The highest elite of the RCP(b)–OCP(b)–CPSU (1917–1989): some statistics], in *Mir Rossii*. 1997. No. 4. Pp. 38–44 (in Russian).
- Gefter M. *Zhivoye mertvoye* [The living dead], in *Znanie – sila*. 1990. No. 7. Pp. 14–15 (in Russian).
- Gorky A.M. *Nesvoyevremennyye mysli. Zametki o kulture i revolyutsii* [Untimely thoughts. Notes on culture and revolution]. Moscow: Sovetskii pisatel', 1990. 400 p. (in Russian).

Gumilev L.N. Panchenko A.N. *Chtoby svecha ne pogasla* [So that the candle does not go out]. Leningrad: Sovetskii pisatel', 1990. 128 p. (in Russian).

Danilov V.P. *Krest'yanskaya revolyuciya v Rossii. 1902–1922 gg.* [The Peasant Revolution in Russia. 1902–1922], in *Krest'yane i vlast'. Materialy nauchnoj konferencii* [Peasants and power. Materials of the scientific conference]. Moscow–Tambov: Tambovskii gos. tekhnicheskii universitet, 1996. Pp. 4–23 (in Russian).

Mamontov S.I. *Pohody i koni* [Hiking trips and horses]. Moscow: AST, 2018. 448 p. (in Russian).

Penskaya T.M. *Vlast', pravoslavnaya cerkov' i obshchestvo v Kievskoj Rusi: problemy vzaimootnoshenij* [Power, the Orthodox Church and Society in Kievan Rus: problems of Relations], in *De die in diem. Pamyati A.P. Pronshtejna* [De die in diem. In memory of A.P. Pronstein]. Rostov-on-Don: Izd-vo SKNTs VSh, 2004. Pp. 195–205 (in Russian).

Pushkin A.S. *Sobraniye sochineniy v 10 t.* [Collected works in 10 volumes]. Vol. 9. Moscow: Khud. lit-ra, 1977. 448 p. (in Russian).

Russian State Archive of Socio-political History (RGASPI). F. 17. Inv. 65. D. 475.

Smutnye vremena v Rossii nachala XVII i nachala XX stoletii: priroda i uroki. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya 60-letiyu so dnya rozhdeniya professora I.O. Tyumentseva. Volgograd, 1–14 oktyabrya 2018 g. [Troubled Times in Russia at the beginning of the 17th and beginning of the 20th centuries: nature and lessons: international scientific conference. Volgograd, 1–14 October 2018]. Volgograd: Izd-vo Volgogradskogo instituta upravleniya – filiala FGBOU VO RANKhiGS, 2018. 420 p. (in Russian).

Tyumentsev I.O. *Social'no-ekonomicheskaya priroda russoj Smuty nachala XVII stoletiya: k voprosu o nezakonchennoj diskussii o krest'yanskih vojnah v Rossii* [Socio-economic nature of the Russian Troubles of the beginning of the 17th century: on the question of the unfinished discussion about the peasant wars in Russia], in *Kazachestvo Rossii v buntah, smutah i revolyuciyah* [The Cossacks of Russia in the riots, troubles and revolutions]. Rostov-on-Don, UNC RAN, 2017. Pp. 9–18 (in Russian).

Tsipko A *Tret'e Srednevekov'e* [The Third Middle Ages], in *Literaturnaya gazeta*. 2006. No. 13. March 29–April 4. P. 1 (in Russian).

Chukovsky K. *Dnevnik. (1901–1929)* [Diary. (1901–1929)]. Moscow: Sovetskii pisatel', 1991. 541 p. (in Russian).

БУНТ ИЛИ НЕ БУНТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ (РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАРОДНЫХ ДВИЖЕНИЯХ XVII–XVIII вв.)

В.Я. Мауль

Аннотация. Идея создания универсальной типологии явлений народного протеста не нова и зачастую следует традиции универсализации научного знания. В советское время была разработана система оценки народных выступлений, вполне применимая и сегодня, поскольку она не носила характера моральной оценки. Но создание сегодня единой типологии народных движений представляется невозможным, из-за специфики оценок социального протеста в знаках и образах синхронной культуры. Для формирования целостного знания о народном процессе представляет важное значение изучение субъективного восприятия окружающих событий их участниками или очевидцами. Аккумуляция различных оценок событий может стать основой целостного знания о социальном протесте. Необходимо учитывать специфику восприятия событий различными группами населения и ее реальное отражение в источнике, меру его субъективности – от тенденциозности мемуариста до специфики отражения исторических событий в фольклорных формах. Характеристика типа «человека восставшего» имеет в большей степени историософское значение, поскольку «идеальный тип» зачастую не соответствует облику конкретного участника событий, ощущавшего себя частью определенного социума (крестьянского «мира») с присущими ему социокультурными нормами и моделями поведения. В значительной мере это объясняет тот факт, что в народном сознании укрепился определенный образ предводителя народного выступления, чья личная судьба или индивидуальные черты нивелируются масштабностью борьбы за народную свободу.

Ключевые слова: типология народного протеста, принципы и категории исторического познания, «человек восставший», самописание бунта, «рутина мятежа», художественная литература.

Мауль Виктор Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, филиал Тюменского индустриального университета в городе Нижневартовске, 628600, Россия, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2п, стр. 9, VYMaul@mail.ru.

REBEL OR NOT REBEL AND OTHER QUESTIONS OF STUDYING THE TOPIC (REFLECTIONS ON THE POPULAR MOVEMENTS OF THE 17TH–18TH CENTURIES)

V.Ya. Maul'

Abstract. The idea of creating a universal typology of mass protest phenomena is not new and often follows the tradition of universalizing scientific knowledge. In Soviet times, a system was developed for assessing popular uprisings, which is still quite applicable today, since it did not have a moral assessment. But the creation of a unified typology of popular movements today seems impossible, due to the specifics of assessments of social protest in the signs and images of synchronous culture. In order to form a holistic system of knowledge about the popular processes, it is important to study the subjective perception of the surrounding events by their participants or eyewitnesses. The accumulation of various assessments of events can form the basis of a holistic system of knowledge of social protest. It is necessary to take into account the specifics of the perception of events by various groups of the population and its reflection in the sources, the degree of its subjectivity – from the bias of the memoirists to the peculiarities of the reflection of historical events in folklore forms. The characterization of the “Man in Revolt” has more of a historiosophical significance, since the ideal type often does not correspond to the appearance of a particular participant in the events, who felt that he was a part of a certain society (part of a peasant world) with its inherent socio-cultural norms and models of behavior. To a large extent, this explains the fact that a certain image of the leader of a popular uprising has been firmly established in the mass consciousness, whose personal fate or individual traits are faded away because of the scale of the struggle.

Keywords: typology of popular protest, principles and categories of historical knowledge, “the man who rebelled”, self-description of the rebel, “routine of the rebellion”, fiction.

С пристрастной точки зрения историка-«бунтоведа» нет сомнений, что народные движения XVII–XVIII вв. — это одно из колоритных украшений и едва ли не самый интригующий феномен отечественной истории. Неслучайно повстанческие сюжеты частенько вдохновляли поэтов и прозаиков на творческие свершения, а ряд перлов изящной словесности золотым фондом вошел в культурную память народа. Среди них хрестоматийная пушкинская мысль о русском бунте — бессмысленном и беспощадном. За тем же авторством признание «о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории» [Пушкин, 1978, с. 370; Пушкин, 1979, с. 86]. Не отставали и другие достойные представители художественной лиры, подтверждая исконную «страсть всякого поэта к мятежу» [Цветаева, 1994, с. 509]. Так, трудно даже предположить кто другой, помимо атамана понизовой вольницы, мог бы быть избран в герои первого российского кинофильма. К сказанному естественно прибавляется длинная череда российских самозванцев, лишавших покоя не только тысячи современников, но и многочисленных потомков и мн. др. Да и в науке у народных движений богатая историографическая традиция, имеющая продолжение в наши дни.

Однако при всех достигнутых успехах, не на все важные вопросы были получены соответствующие им адекватные ответы. В частности, одной из назойливых проблем является неразработанность типологии народных движений, которая, несомненно, сродни неизбывной тяге подвижников науки к изобретению *regretium mobile*. Такие вопросы постоянно тревожат взыскующую мысль, но, по определению, не имеют шансов на успех. Сравнительно недавний опыт «триумфального шествия» концепции «крестьянских войн в России» служит наглядным тому подтверждением, хотя ее отголоски заметны по сей день. За этим единственным исключением неоднократные попытки упорядочить «творческую лабораторию» историка разработкой типологии народного протеста, как правило, не получали поддержки со стороны коллег и оставались втуне, даже если вбирали в себя бунташный опыт всемирной истории.

К примеру, мало кто сегодня вспомнит классификацию Р. Форстером и Дж. Грином политических и социальных движений XVI–XVII вв., хотя в 1970-е гг. она активно обсуждалась научным сообществом. Из того же забытого запасника теоретической мысли вполне продуктивная «иерархия оппозиционности», выстроенная А. Фейерверкером на китайском материале. Одним словом, история исторической науки насчитывает немало вариантов оригинальных или примитивных классификаций социального протеста, не избежал искушения опробовать свои силы на этой стезе и автор данных строк [Мауль, 2003, с. 40–43]. Из последних по времени примеров вспоминаются усилия О.Г. Усенко, Д.А. Ляпина и некоторых других историков, но вожделенное единство мнений и подходов все равно не было достигнуто.

Предположим немислимое, служителям Клио удалось заключить конвенцию о содержательном разграничении понятий «бунт», «мятеж», «восстание», «волнение» и иже с ними. Однако, достигнув корпоративного консенсуса, мы все равно не избежим необходимости реконструировать прошлое с помощью языка его

собственной культуры, которая подобных семантических границ не предусматривала. По-другому говоря, создать качественный нарратив народного бунта с помощью современных научных технологий – в принципе посильная задача, но герменевтическое проникновение в прошлое возможно лишь в системе его собственных координат. Попробуем рассмотреть названные трудности на примере событий 1772 г. на Яике в канун появления там самозванного императора Петра III – Пугачева. В известной монографии советского историка для их обозначения используется следующая классифицирующая терминология: «открытое выступление», «антифеодальное движение», но чаще всего – «восстание» [Рознер, 1966, с. 110, 131, 122 и др.]. Эти в целом допустимые маркеры, однако, существенно отличаются от дореволюционных аксиологических эпитетов: «предосудительное и злое неустройство», «бунт», «бунтовщики», «полная анархия» [Анучин, 1862, с. 586, 592, 593, 597]. Между тем, участники событий вспоминали о них словами «междоусобная брань» и «мятеж» [РГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 506, л. 125], а расследовавший дело капитан-поручик С.И. Маврин – «в Яицком войске несогласия», «бунт», «ослушания», «неповиновения», «упрямства», «дерзкие противности», «разврат и замешательство» [Волнения на Яике, 1872, с. 251, 274, 289, 293, 294].

При неизбежной разногласии в процедуре согласования дефиниций историкам остается стоически смириться с невозможностью общепризнанной типологии, которая удовлетворяла бы всем необходимым требованиям многомерного познавательного процесса. Любая, даже самая универсальная из них, всегда будет «не слишком удобна для анализа конкретных, реальных форм социального протеста» [Усенко, 1994, с. 6], в том числе, из-за выбора критериев построения. Но тогда напрашивается очевидная дилемма: тратить время на нерешаемые в принципе задачи vs концентрация усилий на тех вопросах, на которые можно найти полноценные ответы. В силу чего призываю коллег взять на вооружение «бритву Оккама» и не множить сущностей без нужды. Благо, вместо прежних «детерминизмов» сегодняшние методологии позволяют сменить познавательную «оптику», дополнив историю событий, как они «происходили на самом деле», изучением их субъективного восприятия участниками и наблюдателями. Представляется, что из суммативной пестроты таких эмоциональных реакций будет складываться вполне целостное знание о социальном протесте, в том числе, удовлетворяющее критериям научной строгости.

В контексте рефлексий современников, народные движения – это всегда, минимум, две точки отсчета. Их участники и те, кто подавлял бунты, по большому счету соотносятся с одним и тем же событийным рядом, только находятся и глядят на него с разных сторон баррикад. Понятно, что общая картина протестных действий и частные фрагменты ее мозаики в этом случае тоже различались, зачастую до полной противоположности, причем не только в смысле расхождения в оценках, но и конкретных деталей. Среди сохранившихся самоописаний «русского бунта» абсолютное большинство создано людьми, боровшимися с бунтовщиками или находившимися в лагере их противников. Скажем, применительно к пугачевскому

восстанию было немало «самовидцев» из числа помещиков, которые «разсказыва-ют страшные ужасы об этих, так сказать, предсмертных судорогах мятежа» [Мор-довцев, 1901, с. 93]. Имеются среди них полноценные мемуары, допустим, Г.Р. Дер-жавина, А.Т. Болотова и других авторов, есть более лаконичные воспоминания о временах смут и разорений, или совсем коротенькие зарисовки. В любом случае, являясь ценными историческими источниками, они несут в себе все классические черты такого рода сочинений – от крайней тенденциозности до неумолимого влия-ния времени на память мемуаристов.

Собственно же для бунтовщиков самоописания, мягко говоря, не очень характер-ны. Допустим, для пугачевской истории имеются «единственные из известных в на-стоящее время воспоминаний непосредственного участника восстания – Дементия Васильевича Верхоланцева». Однако правомочность отнесения их к названному жанру не совсем очевидна, так как они были записаны только в 1829 г. посторон-ним человеком со слов 73-летнего рассказчика, вспомнившего свою беспокойную молодость полувековой давности. Сделанные записи подвергались редактуре и их списки ходили «в литературных и научных кругах Петербурга и Москвы», отличаясь объемом и содержанием [Светенко, 1986, с. 224–225]. Можно ли, с учетом уникаль-ности ситуации, руководствоваться принципом «за неимением гербовой, пишем на простой» – немаловажный источниковедческий нюанс.

В целом же одна из главных причин тотального отсутствия таких самоописаний заключена в специфике устной культуры простолюдинов, формировавших «протестующую толпу», когда «вся система общественных отношений» исключала их «из круга творцов письменных источников» [Могильницкий, 1978, с. 61]. Даже грамотеи, не имея регулярной практики, главным образом, демонстрировали свои навыки, подписывая приговоры войскового круга, мирские челобитные, владенные записи или иные подобные бумаги. Иначе говоря, среди них не было, так сказать, писателей, в народной среде память о героической борьбе и ее оценках закрепля-лась на уровне различных фольклорных форм – в песнях, сказаниях, преданиях и пр. Гипотетически нельзя исключать и такой сдерживающий фактор, как инстинкт самосохранения, возможно, смирявший порывы немногих бунтовщиков, кто в прин-ципе мог бы составить письменные рассказы о протестных акциях и их деятелях. Даже спустя годы, попадая в руки властей, такие рассказы неизбежно превраща-лись в доносы на самого себя и товарищей по борьбе, которым прежде, не исклю-чено, удавалось избежать наказания.

Не будем также забывать об особенностях циклического восприятия времени, характерного для традиционной культуры и ее носителей, принципиально отли-чавшегося от линейного понимания хода истории и не требовавшего письменной фиксации достопамятного. Производя неизгладимое впечатление на народное сознание, яркие события и их герои становились достоянием фольклора, в котором неразрывно переплетались времена и люди, благодаря чему, например, легендар-ный Ермак Тимофеевич порой действовал рука об руку со столь же легендарным Степаном Тимофеевичем.

В свете вышеизложенного дополню мнение, что бесценным источником, дающим «представление о коллективном сознании и эмоциональной жизни простолюдинов» является сам бунт как таковой, когда «текстом» для изучения служит «событийная ткань, которую можно попытаться восстановить на основе этих свидетельств» [Чеканцева, 1996, с. 5], сохранивших впечатления современников и участников.

Вопрос о «человеке восставшем» как «социо-антропологическом типе» и его существенных характеристиках носит скорее историософское, нежели сугубо историческое наполнение, а потому в памяти незамедлительно всплывают имена А. Камю, Х. Ортеги-и-Гассета, Т.Р. Гарра, множества специалистов в области психологии масс и др. К размышлениям и выводам авторитетных классиков сложно добавить что-то принципиально иное, способное перевернуть сложившиеся представления о «бунтующем человеке». При этом надо понимать, что они выстроили генерализующие модели в качестве «идеального типа», не тождественного живому облику конкретного индивида, чья «картина мира» фундировалась привязанностью к домашнему очагу, членам семьи, близкому кругу общения. Но она же имманентна социокультурным реалиям общественной и окружающей среды. Человек прошлого не был изолирован от культурного локуса, вписанного в социальную структуру и историческую память более масштабного сообщества. Его ценности воспроизводились практической имитацией, житейским прагматизмом, трудовым опытом и передавались через фольклор. Идет ли речь о российском крестьянине внутренних областей страны, или насельниках окраин, например, донском казаке, рядовом украинском простолюдине и т.п., — эта аксиома в главных чертах оставалась неизменной. Даже для «бунтующего человека» XIX столетия, — казалось бы, далеко отстоявшего от героев былых времен, но не забывавшего их подвиги во благо народа. Во всех случаях для него чрезвычайно важным было понятие личной, групповой и социальной идентичности, в рамках которых он привычно ощущал себя органичной частицей большого общественного целого, встроенным в утвердившийся истари гармоничный лад жизненных стратегий и поведенческих практик. В том смысле, что для «среднего» человека прошлого «жизнь была синонимом тяжелой судьбы как в экономическом, так и в физическом смысле», он ощущал «свое существование как давящий груз запретов, который надо нести на своих плечах, для него не было другого выбора, как приспособиться к своей ноше, устроив ее поудобнее на спине» [Ортега-и-Гассет, 1991, с. 82].

При всем том, в результате принудительной вестернизации, менявшей традиционную систему ценностей, обычный простолюдин XVII–XVIII вв. — это человек неудовлетворенный неустроенностью привычного, но на глазах менявшегося status quo, имевший веские основания мечтать о лучшей доле, ориентир для которой указывала мифологема «золотого века» в прошлом. Такая неравновесная ситуация провоцировала народный протест, пугавший и манивший одновременно, но обязательно ведущий к разрыву привычной повседневности и противопоставлению идеализируемой старины неправде сегодняшнего дня. Исходя из такой умозрительной основы,

«бунтующий человек» на фоне «рутины мятежа» пытался организовать социокультурное пространство своего существования как части «протестующей толпы», в котором расплывчатые раздумья о «воле» играли доминантную роль, а сама она в качестве «желания» приобретала социальный смысл и обеспечивала целеполагание совместной борьбы [Арутюнова, 2003, с. 75].

В свое время С.О. Шмидт, размышляя над историографическими источниками и литературными памятниками, справедливо заметил, что литература и история — это две «формы самоосмысления и самовыражения общества. Главная их тема, в конечном счете, — обществознание, человекознание, что предопределяет “смежность, сопряжение этих сфер культуры» [Шмидт, 1997, с. 92]. Они, по меткому выражению, существуют на разных этажах, но одного культурного ансамбля. Однако не будем вдаваться в компаративные тонкости теоретически верного тезиса, вокруг которого и без того сломано немало копий.

Взвешивание роли историка и художника в формировании исторического сознания общества показывает уверенный перевес мастеров художественного жанра, в том числе, на примере бунташной проблематики. Не открою секрета, что в массовом восприятии пугачевский бунт соотносится скорее с сюжетами и персонажами «Капитанской дочки», нежели с монографическими трактатами А.И. Дмитриева-Мамонтова, Н.Ф. Дубровина, В.В. Мавродина, Р.В. Овчинникова и других маститых авторитетов. В другом случае искушенную публику, конечно, привлекают художественные образы Стеньки Разина, нарисованные легким пером С.П. Злобина, А.П. Чапыгина, В.М. Шукшина, а не научные биографии, где личности великого бунтаря отведено скромное место на фоне стратегии и тактики противоборствующих сторон. Достаточно сказать, что одно из самых знаковых душеспасительных для донского атамана событий — паломничество к Соловецким святым — историками, по сути, обойдено глухим молчанием. Исторический Хлопуша, несомненно, уступает Хлопуше есенинскому из монолога В.С. Высоцкого, да и первого самозванца российский интеллектual лучше запомнил по опере «Борис Годунов», а не по специальным студиям Р.Г. Скрынникова или других ученых. Так что конкуренции академических и художественных образов в общественном сознании, увы, не получилось.

Констатация неутешительной данности требует честного признания: борьбу за умы художники «русского бунта» выиграли у историков-«бунтоведов» за явным преимуществом, при том что в рядах последних было и есть немало настоящих профессионалов своего дела. Тем не менее, их труды обретают известность внутри сравнительно узкой коллаборации коллег, но не широкой читательской аудитории. Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на совести самих историков, чьи сочинения губит, прежде всего, нарочитая сциентизация историописания. По наследству доставшаяся от классической историографии, она не в состоянии привлечь обычного читателя, с трудом продирающегося через частокol специфической лексики, и с облегчением окунающегося в стилистическое изящество исторических романов и повестей. Не зря Д.Л. Мордовцев, умело сочетавший ремесло историка с творчеством писателя, упоминал об «утомительных подробностях»

бесконечного пересказа «неудач и удач русских войск» в «бесплезной гонке за самозванцем» [Мордовцев, 1901, с. 93].

Задумаемся на минутку о ценности для рядового обывателя научных дебатов о тонких семантических отличиях «бунта» от «восстания» или «мятежа», о спорах про количество крестьянских войн в родном отечестве и степени их антифеодальности, о движущей силе народных движений и т.д. В то время как за обложкой исторической книги его ждет радость и боль человеческих чувств, допустим, Петруши Гринева и Маши Мироновой. Между тем, в равный по переживаниям, зато реальный эпизод встречи «красавицы и чудовища» (Емельяна Пугачева с несчастной сиротой и вдовой Татьяной Харловой) историческая наука со времен А.С. Пушкина не привнесла ничего нового. Он находится даже не на периферии научного внимания, хотя потенциально мог ошеломить читателя накалом эмоционального напряжения. На исследовательских задворках пребывает бурная страсть названного императора к казачке Устинье Кузнецовой, не говоря уже о настоящей трагедии семейных отношений Пугачева – мужа и отца. Можно также вспомнить трогательную привязанность закоренелого уголовника А.Т. Соколова-Хлопуши к простой девушке Анне Ивановой, родившей ему сына, а потом навсегда потерявшей суженого, забритого на каторгу. Их обреченная любовь – мелодрама наяву, просящаяся в какой-нибудь роман, но не заинтересовавшая историков, как нечто третьестепенное в масштабе исторического развития. Но это тоже страницы русского бунта, чрезвычайно любопытные, только неизученные. Вместо них познавательный вектор указывает на приоритетную значимость типизации образа вождя обездоленных низов, где личная судьба выступает как закономерная проекция назревших общественных потребностей, а индивидуализирующие черты меркнут перед глобальностью задач борьбы трудящихся за народную свободу. Это означает, что выбор сюжетов для трансляции исторического знания в массы – отнюдь не самый сильный наш козырь, что является еще одной значимой причиной проигранной конкуренции. Всякий раз строгие установки высокой науки предостерегают историков перед потаканием художественным вкусам широкой публики и потому не оставляют следов в массовом историческом сознании.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Анучин Д.Г. Происшествия на Яике в 1772 году // *Современник*. 1862. Т. 92. С. 565–600.

Арутюнова Н.Д. Воля и свобода // *Логический анализ языка. Космос и хаос*. М.: Индрик, 2003. С. 73–99.

Волнения на Яике перед Пугачевским бунтом [документы] // *Памятники новой русской истории. Сборник исторических статей и материалов*. СПб.: Типогр. Майкова, 1872. Т. II. С. 250–294.

Мауль В.Я. Харизма и бунт: психологическая природа народных движений в России XVII–XVIII веков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. 218 с.

- Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978. 234 с.
- Мордовцев Д.Л. Самозванцы и понизовская вольница. СПб.: Изд-е Н.Ф. Мертца, 1901. 278 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М.: Радуга, 1991. 638 с.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10-ти тт. Л.: Наука. Ленингр. отд-е, 1978. Т. 6. 576 с.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10-ти тт. Л.: Наука. Ленингр. отд-е, 1979. Т. 10. 713 с.
- Рознер И.Г. Яик перед бурей (Восстание 1772 года на Яике – предвестник Крестьянской войны под руководством Е. Пугачева). М.: Мысль, 1966. 207 с.
- Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 6. Оп. 1. Д. 506.
- Светенко А.С. Воспоминания участника Пугачевского восстания Д.В. Верхоланцева как исторический источник // *Исследования по источниковедению истории СССР XIII–XVIII вв. Сборник статей* / отв. ред. В.И. Буганов. М.: Ин-т истории СССР АН СССР, 1986. С. 224–242.
- Усенко О.Г. Психология социального протеста в России XVII–XVIII вв. Тверь: Изд-во Тверского ун-та, 1994. 74 с.
- Цветева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5: Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы / сост. А.А. Саакянц, Л.А. Мнухин. М.: Эллис Лак, 1994. 720 с.
- Чеканцева З.А. Порядок и беспорядок. Протестующая толпа во Франции между Фрондой и Революцией. Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1996. 235 с.
- Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М.: Изд-во РГГУ, 1997. 612 с.

REFERENCES

- Anuchin D.G. Proisshestviya na Yaike v 1772 godu [Incidents on Yaik in 1772], in *Sovremennik*. 1862. Vol. 92. Pp. 565–600 (in Russian).
- Arutyunova N.D. Volya i svoboda [Volya i svoboda], in *Logicheskij analiz yazy'ka. Kosmos i haos* [Logical analysis of language. Space and chaos]. Moscow: Indrik, 2003. Pp. 73–99 (in Russian).
- Volneniya na Yaike pered Pugachevskim buntom [Unrest on Yaik before the Pugachev rebel], in *Pamyatniki novej istorii. Sbornik istoricheskix statej i materialov*. St. Petersburg: Tipogr. Maikova, 1872. Vol. 2. Pp. 250–294 (in Russian).
- Maul' V.Ya. *Harizma i bunt: psixologicheskaya priroda narodny'x dvizhenij v Rossii XVII–XVIII vekov* [Charisma and rebellion: the psychological nature of popular movements in Russia of the 17th–18th centuries]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo universiteta, 2003. 218 p. (in Russian).
- Mogil'niczkij B.G. *O prirode istoricheskogo poznaniya* [On the nature of historical knowledge]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo universiteta, 1978. 234 p. (in Russian).

- Mordovcev D.L. *Samozvancy i ponizovskaya vol'nicza* [Impostors and Ponizovskaya volnitsa]. St. Petersburg: Izd-e N.F. Mertsya, 1901. 278 p. (in Russian).
- Ortega-i-Gasset H. *Degumanizaciya iskusstva i drugie raboty* [Dehumanization of art and other works]. Moscow: Raduga, 1991. 638 p. (in Russian).
- Pushkin A.S. *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete collection of works]. Leningrad: Nauka, 1978. Vol. 6. 576 p. (in Russian).
- Pushkin A.S. *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete collection of works]. Leningrad: Nauka, 1979. Vol. 10. 713 p. (in Russian).
- Rozner I.G. *Yaik pered burej (Vosstanie 1772 goda na Yaike – predvestnik Krest'yanskoj vojny' pod rukovodstvom E. Pugacheva)* [Yaik before the storm (The uprising of 1772 on Yaik – the harbinger of the Peasant War under the leadership of E. Pugachev)]. Moscow: Mysl', 1966. 207 p. (in Russian).
- Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA). F. 6. Inv. 1. D. 506.
- Svetenko A.S. *Vospominaniya uchastnika Pugachevskogo vosstaniya D.V. Verxolanceva kak istoricheskij istochnik* [Memoirs of a participant in the Pugachev Uprising D.V. Verxolantsev as a historical source], in *Issledovaniya po istochnikovedeniyu istorii SSSR XIII–XVIII vv. Sbornik statej* [Research on source study of the history of the USSR in the 13th–18th centuries. Digest of articles]. Moscow: In-t istorii SSSR AN SSSR, 1986. Pp. 224–242 (in Russian).
- Usenko O.G. *Psihologiya social'nogo protesta v Rossii XVII–XVIII vv.* [Psychology of social protest in Russia of the 17th–18th centuries]. Tver: Izd-vo Tverskogo universiteta, 1994. 74 p. (in Russian).
- Tsvetaeva M.I. *Sobranie sochinenij* [Collected works]. Moscow: Ellis Luck, 1994. Vol. 5. 720 p. (in Russian).
- Chekanceva Z.A. *Poryadok i besporyadok. Protestuyushhaya tolpa vo Francii mezhdru Frondoj i Revolyuciej* [Order and disorder. Protesting crowd in France between the Fronde and the Revolution]. Novosibirsk: Izd-vo NGPI, 1996. 235 p. (in Russian).
- Shmidt S.O. *Put' istorika: Izbranny'e trudy' po istochnikovedeniyu i istoriografii* [The path of the historian: Selected works on source studies and historiography]. Moscow: Izd-vo RGGU, 1997. 612 p. (in Russian).

«ЧЕЛОВЕК ВОССТАВШИЙ»: ПРИМЕР РУССКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

А.В. Посадский

Аннотация. Человек, вышедший из рамок привычного существования на поле протеста, интересен с историко-антропологической точки зрения. В статье рассматривается пример гражданской войны в России в 1917–1922 гг. Предложено смысловое наполнение для терминов «бунт», «восстание», «мятеж», «революция» применительно к событиям в России. Дана оценка круга наиболее активных участников вооруженного протеста, показана их связь с трансформацией российского общества первых десятилетий XX в. Постепенное накопление биографического материала позволяет рассуждать о характеристиках активного ядра восставших. В их биографиях совмещались деревенское происхождение и социализация через образование, службу, приобретение профессии. Предложены соображения об изучении повседневности восстания. «Рутина мятежа» была по преимуществу вписана в привычные горизонты крестьянского существования. Рассмотрена связь между академическим и художественным осмыслением проблемы народного протеста. Художественная реконструкция позволяет выходить за рамки правил академического исследования, но привлекать обширный фактический материал.

Ключевые слова: Россия, Гражданская война, протест, бунт, восстание, биографический жанр.

Посадский Антон Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор, Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 410012, Россия, г. Саратов, ул. Московская, 164, Posadav68@mail.ru.

“MAN IN REVOLT”: AN EXAMPLE OF THE RUSSIAN CIVIL WAR

A.V. Posadsky

Abstract. A person who has left the framework of the usual existence on the field of protest is interesting from a historical and anthropological point of view. The article considers an example of the civil war in Russia in 1917–1922. The semantic content for the terms “riot”, “insurrection”, “rebellion”, “revolution” in relation to the events in Russia is proposed. The author evaluates the circle of the most active participants of the armed protest, shows their connection with the transformation of Russian society in the first decades of the 20th century. The gradual accumulation of biographical material makes it possible to speculate about the characteristics of the active core of the rebels. Rural origin and socialization through education, service, and the acquisition of a profession were combined in their biographies. The author offers some ideas about studying the everyday life of the uprising. “The Routine of Revolt” was predominantly defined by the usual ways of peasant existence. The connection between the academic and imaginative understanding of the problem of popular protest is considered. Artistic reconstruction allows us to go beyond the rules of academic research, but engage extensive factual material.

Keywords: Russia, Civil war, protest, riot, uprising, biographical genre.

«Человек восставший», в тех или иных ипостасях, являет собой интересную историко-антропологическую тему.

Предложенные к дискуссии синонимы, конечно же, имеют существенно разное содержание. Уместно вспомнить Дж. Харингтона в вольном переводе С.Я. Маршака: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». При этом в оригинале помещено слово «измена», что довольно далеко от «мятежа». Т.Р. Гарр написал историко-социологическое исследование под названием «Почему люди бунтуют» [Гарр, 2005], подразумевая под бунтом различные формы протеста. В случае возникновения массового участия широких масс в гражданской войне появляется многогранный сюжет бунта-восстания-повстанчества в более широком контексте военно-политического противостояния. Такая картина русской Гражданской войны 1917–1922 гг., материалом которой мы и будем далее оперировать. В этом случае границы понятий можно пытаться определить. Скажем, одномоментная протестная вспышка без подготовки, без создания каких-либо организационных форм, может быть определена как бунт. Крупный протест, охватывающий значительные территории, с созданием институтов (само)управления, более или менее постоянной вооруженной силой, есть основания назвать восстанием. Организованный поворот оружия военнослужащими, что нередко случалось в годы Гражданской войны, логично понимать как военный мятеж. При этом следует иметь в виду идеологическую окраску названий, которая имеет давнюю традицию. Во вражеском тылу «поднимаются восстания», а в своем — «вспыхивают мятежи». Поэтому слово «мятеж» имеет негативную коннотацию. Данный сюжет прослеживается и в сфере художественной и публицистической литературы [Фурманов, 1937]. Под революцией часто понимается некое одномоментное «баррикадное» действие, приводящее к смене власти. Хотя более правильно понимать революцию культурологически, как длительный процесс, занимающий иногда многие десятилетия [Елишев, Махнач, 2008, раздел XIV].

Ныне популярен дискурс «протеста». Протестное движение может иметь широкий спектр форм, включая массовые и вооруженные выступления. Для массовых народных движений, имеющих свои подъемы и спады, плодотворно комплексно рассматривать активные и пассивные формы протеста, политический (вооруженный) протест и, например, религиозное сопротивление, миграции, такое многогранное явление периода аграрного перенаселения, как хулиганство и многое другое. Довольно разнохарактерные явления в этом случае могут укладываться в единую логику и помогать объяснению массового поведения.

В истории России и отечественной историографии силен и привычен дискурс «освободительного движения» антисамодержавной направленности применительно к образованным кругам. Данный процесс начинается с людей декабристского круга. В широких народных массах вершины протеста — это «крестьянские войны» XVII–XVIII вв., хотя собственно крестьянский характер

всех трех или четырех (с восстанием К. Булавина) войн нельзя не поставить под большое сомнение. Для них характерно более или менее широкое крестьянское участие, но не крестьянская программа и не крестьянская инициатива. Данные паттерны, как нам кажется, долго довлели над исследователем: «народные движения» – «освободительное» (как самоназвание в XIX столетии) или революционно-демократическое движение. При этом разрушительная составляющая или выраженная агрессивнo-этническая окраска первых оставались в тени. Сегодня в историографии используется название крестьянской войны – «великой» или «последней» – для описания крестьянского военно-политического участия в русской гражданской войне XX в. [Сафонов, 1998]. Прежде всего, под данное определение попадает ее последний, крестьянско-повстанческий, этап 1920–1922 гг.

Любое протестное движение имеет какой-то голос. Даже принципиально молчаливое крестьянское большинство «говорит» в следственных и судебных материалах, в лозунгах, пусть и политически неопределенных. В этом смысле элемент самоописания присутствует всегда. Если же говорить о русской Гражданской войне, то мы можем достаточно четко увидеть корпус требований и принципов, на которых строились выступления крестьян и казаков, и тот образ будущего, который им казался желательным. При этом в лозунгах и призывах русских повстанцев могли соседствовать эсеровские клише и архетипически древние обращения к «солнцу правды», «армии правды». Можно расценивать это как мощный запрос на социальную справедливость со стороны народы, быстро входившего в «большой мир» через систему образования, прежде всего. Не следует думать, что только большевистская система давала системное искажение действительности. Например, существует вполне внутренне логичный, но не соответствующий действительности партийный эсеровский взгляд на Тамбовское восстание, изложенный в эмиграции [Воспоминания неизвестного..., 2018].

Возможность изучения «человека восставшего» сильно облегчается активным созданием в последние годы баз данных на различные сообщества людей, активных в военно-политической сфере. Восстание в аграрном социуме может быть массовым и кратким («бунт») или же более длительным, с более или менее избирательным участием, разделением на активных и помогающих, предоставляющих ресурсы, сочувствующих. В свое время В.А. Степынин [Степынин, 1991], на материалах событий 1905–1907 гг. в Черноземье, сделал выводы о феномене усталости (активно выступившее селение, как правило, оставалось пассивным при следующей волне движения в данной местности) и очаговом характере движения. Как правило, всегда был активный центр (селение или волость с теми или иными характеристиками или ситуативными обстоятельствами), за которым следовали соседи. Думается, данный принцип вполне прослеживается и на обширном материале Гражданской войны. Постепенное накопление биографического материала позволяет рассуждать о характеристиках активного ядра восставших. В частности, многие махновские или антоновские командиры

представляли собой сельских жителей, которые расставались с крестьянским трудом. То есть в их биографиях совмещались деревенское происхождение и социализация, — и выход в большой мир через образование, службу, приобретение профессии. Это соответствует общему тренду быстрого роста и трансформации империи в предреволюционные годы.

С начала XX столетия в России вырос круг простолюдинов, имевших значительный опыт партийной жизни, в основном подпольного характера. Революционная субкультура вышла за пределы интеллигентного общества. Очень интересное наблюдение предлагает Г.К. Гольцева, сопоставляя А.С. Антонова как представителя революционной культуры, и рязанского повстанца С.К. Никушина как представителя «молчаливой» православно-народной культуры протеста [Гольцева, 2017, с. 25]. Любопытно, что партийные, в основном анархо-социалистические, компоненты политической культуры читаются в среде активных повстанцев довольно четко, а, например, сектантские и староверческие корни прослеживаются менее явно.

В повстанчестве Гражданской войны нередко связка «атаман» — «агитатор», то есть боевой авторитет и политическое оформление живут в разных лицах. В Партизанской армии Тамбовского края политические руководители, собственно, существовали на постоянной основе.

Уместно рассуждать о быстром социальном взрослении крестьянства в ходе гражданской войны. За несколько лет с 1917 по 1922 гг. крестьянское движение прошло путь от аграрных захватов и замыкания в локальных мирах до организованной вооруженной борьбы с выстраиванием воинской силы, систем самоуправления, корпусом политических представлений. Этапами на этом пути стали отзывчивость на чужие призывы (казаков, чехов) в 1918-м, волна крупных восстаний против хлебной монополии и мобилизаций, зеленое движение с попыткой осознания собственно крестьянских интересов [Маслов, 1922, с. 128–129].

Структурированные движения порождают свою приказную и агитационную литературу. Массовые восстания 1920–1921 гг. свидетельствуют об этом вполне однозначно. Однако повседневная жизнь людей, вовлеченных в движение, оказывается за пределами разрешающих возможностей традиционных источников. Между тем, понять рутину восстания можно, исходя из общих контекстов «жизни в катастрофе» [Нарский, 2001]. Людей на восстание поднимала угроза голода при немилосердных изъятиях продовольствия. Активный участник восстания при рейдовом характере движения попадал в весьма жесткий формат жизни, — с быстрыми перемещениями, боями в зимних, в том числе, условиях при самых скромных возможностях поддержания жизни и здоровья. В случае массового восстания на определенной территории ситуация складывалась иная. Так или иначе, начинали функционировать местные органы власти. Это могли быть прежние «советские» власти в лице исполкома,

«тройки», «пятерки», союзы трудового крестьянства, повстанческие комитеты и т.п. Они организовывали местную жизнь, в том числе функционирование повстанческих формирований, занимаясь мобилизациями, сбором оружия и т.п. В таких местностях «повстанческая повседневность» была более вписана в привычные горизонты крестьянского существования. Мирные жители могли следовать с повстанческими войсками, неизбежно попадая рано или поздно в руки победителей-противников, часто оказывались ответчиками за воюющих родственников и односельчан. Данные сюжеты наиболее известны по тем местностям, где карательное давление на восставшие местности было особенно сильным, массово применялось заложничество, как в Тамбовской губернии в 1921 г.

Художественное осмысление способно дополнять возможности академического изучения. Во-первых, художественные тексты могут содержать мемуарный контент. Это существенно даже в случае идеологической заданности произведения, как, например, в случае с романом Н.Е. Вирты «Одиночество» о событиях тамбовского восстания 1920–1921 гг. Во-вторых, художественная реконструкция позволяет выходить за рамки правил академического исследования, но привлекать обширный фактический материал. Такого рода стилистику носят историко-художественные работы А.И. Солженицына. Там, где акторы политического действия «молчаливы», ситуация взывает к художественной реконструкции. Любопытно, что В.Я. Голованов, автор одного из лучших исследований эпопеи Н.И. Махно, использует в названии именно эту, солженицынскую, метафору «художественного исследования» [Голованов, 1997]. Сегодня также существует влечение к художественному осмыслению повстанческих судеб [Ольков, 2010].

Для массового сознания удачно сформированный художественный образ, наверное, всегда будет привлекательнее научной биографии; тем более что источники далеко не всегда позволяют подготовить сколько-нибудь подробную биографию народного вожака. Если не смешивать жанры, то художественная реконструкция окажется не в конфронтации, а в сотрудничестве с академическим изложением.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Воспоминания неизвестного о восстании и проблема достоверности (публ. Д.П. Иванова, М.А. Бондарева) // *Тамбовское восстание 1920–1921 гг.: исследования, документы, воспоминания* / под ред. А.В. Посадского. М.: АИРО-XXI, 2018. С. 27–86.

Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005. 461 с.

Голованов В.Я. Тачанки с юга. Опыт художественного исследования махновского движения. М. — Запорожье: «Март» — «Дикое поле», 1997. 454 с.

- Гольцева Г.К. «Огольцовщина» и «Антоновщина»: связь мифическая и реальная // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2017. № 6(80): в 2-х ч. Ч. 2. С. 20–26.
- Елишев С.Е., Махнач В.Л. *Политика. Основные понятия: справочник*. М.: ОЛМА медиа групп, 2008. 288 с.
- Маслов С.С. *Россия после четырех лет революции*. Париж: Изд-во «Русская печать», 1922. Кн. 2. 207 с.
- Нарский И.В. *Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917–1922 гг.* М.: РОССПЭН, 2001. 613 с.
- Ольков Н.М. *Гриша Атаманов: повесть*. Шадринск: Шадринский дом печати, 2010. 143 с.
- Сафонов Д.А. *Великая крестьянская война 1920–1921 гг. и Южный Урал*. Оренбург: Изд-во «Оренбургская губерния», 1998. 314 с.
- Степынин В.А. *Крестьянство Черноземного центра в революции 1905–1907 годов*. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. 166 с.
- Фурманов Д.А. *Мятеж*. Иваново: гос. изд-во Иванов. обл., 1937. 350 с.

REFERENCES

- Vospominaniya neizvestnogo o vosstanii i problema dostovernosti (publ. D.P. Ivanov, M.A. Bondarev) [Memories of the unknown about the uprising and the problem of authenticity], in *Tambovskoe vosstanie 1920–1921 gg.: issledovaniya, dokumenty, vospominaniya*. Ed. by A.V. Posadsky. Moscow: AIRO-XXI, 2018. Pp. 27–86 (in Russian).
- Garr T.R. *Pochemu lyudi buntuyut* [Why Men Rebel]. St. Petersburg: Piter, 2005. 461 p. (in Russian).
- Golovanov V.Ya. *Tachanki s yuga. Opyt hudozhestvennogo issledovaniya mahnovskogo dvizheniya* [Machine gun carts from the south. The experience of artistic research of the Makhno movement]. Moscow – Zaporozh'e: "Mart" – "Dikoe pole", 1997. 454 p. (in Russian).
- Gol'ceva G.K. "Ogol'covshchina" i "Antonovshchina": svyaz' mificheskaya i real'naya ["Ogol'tsov movement" and "Antonov movement": a mythical and real connection], in *Is-toricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki*. 2017. No. 6(80): Part 2. Pp. 20–26 (in Russian).
- Elishev S.Y., Mahnach V.L. *Politika. Osnovnye ponyatiya: spravochnik* [Politics. Basic concepts: reference book]. Moscow: OLMA media grup, 2008. 288 p. (in Russian).
- Maslov S.S. *Rossiya posle chetyrekh let revolyucii* [Russia after four years of revolution]. Paris: "Russkaia pechat". 1922. Vol. 2. 207 p. (in Russian).
- Narskij I.V. *Zhizn' v katastrofe: budni naseleniya Urala v 1917–1922 gg.* [Life in a disaster: everyday life of the population of the Urals in 1917–1922]. Moscow: ROSSPEN, 2001. 613 p. (in Russian).

Ol'kov N.M. *Grisha Atamanov: povest'* [Grisha Atamanov: a novel]. Shadrinsk: Shadrinskii pechatnyi dom, 2010. 143 p. (in Russian).

Safonov D.A. *Velikaya krest'yanskaya vojna 1920–1921 gg. i Yuzhnyj Ural* [The Great Peasant War of 1920–1921 and the Southern Urals]. Orenburg: Orenburgskaya gubernia, 1999. 314 p. (in Russian).

Stepynin V.A. *Krest'yanstvo Chernozemnogo centra v revolyucii 1905–1907 godov* [The peasants of the Black earth Center in the Revolution of 1905–1907]. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo universiteta, 1991. 166 p. (in Russian).

Furmanov D.A. *Myatezh* [The Rebel]. Ivanovo: gos. Izd-vo Ivanoskoy obl., 1937. 350 p. (in Russian).

THE ROUTINE OF REVOLT

Richard Arnold

Abstract. What approaches to the research problem of the everyday life of mass movement members can be considered in demand? What does the study of everyday life have to tell us about mass movements? This paper seeks to answer these questions through analysis of the concept of “everyday” or “banal” nationalism. Nationalism as a mass phenomenon originated in industrial societies, although scholars differ as to the precise geographical location of the world’s first “nations”. But nationalism is one of- if not the- mass mobilization ideologies of the modern era and is still present in the contemporary world. This paper explicates the concept of banal or everyday nationalism and offers reflections on how it can help illuminate two central mass movements in the last 40 years: mass nationalist mobilization in Eastern Europe which brought down the Soviet Empire and last summer’s Black Lives Matter movement which rattled the establishment in the United States and countries throughout the world. The author make no claim to a definitive account of these events, but rather offer suggestions as to how the concept of everyday nationalism can help deepen our understanding of mass movement members, posing future avenues of research.

Keywords: everyday nationalism, banal nationalism, mass movements, ethnography.

РУТИНА МЯТЕЖА

Ричард Арнольд

Аннотация. Какие подходы к исследованию проблемы повседневной жизни участников массового движения можно считать востребованными? Что изучение повседневной жизни может рассказать нам о массовых движениях? В данной статье делается попытка ответить на эти вопросы посредством анализа концепции «повседневного», или «банального» национализма. Национализм как массовое явление зародился в индустриальных обществах, хотя ученые расходятся во мнениях относительно точной географической локализации первых «наций» мира. Но национализм является одной из основных, если не главной, идеологией массовой мобилизации текущей эпохи, и все еще присутствует в современном мире. В этой статье предлагаются размышления о том, как банальный, или повседневный национализм может помочь пролить свет на два центральных массовых движения за последние 40 лет: массовую националистическую мобилизацию в Восточной Европе, которая разрушила Советскую империю, и движение Black Lives Matter летом 2020 г., вызвавшее потрясение институтов государства в США и других странах по всему миру. Автор не претендует на исчерпывающий отчет об этих событиях, а скорее формулирует предложения, как можно углубить наше понимание участников массовых движений, открывая направления будущих исследований.

Ключевые слова: «повседневный» национализм, «банальный» национализм, массовые движения, этнография.

BANAL/ EVERYDAY NATIONALISM

Billig's [Billig, 1995] concept of "banal nationalism" marked a turning point in the field of nationalism studies, moving from a focus on the origin of nationalism or the most negative manifestations of the ideology. Billig argued that, while conflict in the global periphery was attention-grabbing, "in the established nations, there is a continual 'flagging', or reminding, of nationhood... In so many little ways, the citizenry are reminded of their national place in a world of nations. However, this reminding is so familiar, so continual, that it is not consciously registered as reminding. The metonymic image of banal nationalism is not a flag which is being consciously waved with fervent passion; it is the flag hanging unnoticed on the public building" [Billig, 1995, p. 8]. Billig applies the concept of banal nationalism to the state's control of language and symbols, finding ways in which the "past is enhabituated in the present in a dialectic of forgotten remembrance" [Billig, 1995, p. 42]. In so many ways, the reality of the nation is maintained through a continuous system of significations.

The research agenda was developed and furthered into the project of "everyday nationalism", examining the ways whereby people talk, choose, perform, and consume the nation. Sending one's child to a school identified as national, for instance, is a way of choosing the nation and inserting the construct-as-frame-of-reference into everyday life. The research agenda of everyday nationalism is similar to, though not synonymous with, that of banal nationalism. While the nation is frequently signaled, most of the time it does not "pervade[s] everyday life." Everyday nationalism focuses instead on "the ways in which people understand and represent themselves and their predicaments in national terms on the other" [Fox, Miller-Idriss, 2008, p. 554]. Nationalism scholars embraced this new research agenda.

Granted, it should be acknowledged that most of the classical works of nationalism studies did offer examples of ways in which states used practices of banal nationalism. For instance, Anderson [Anderson, 1983] discusses the tomb of the unknown soldier as the manifestation of nationalism, as no-one advocates a tomb for the unknown Marxist. Similarly, flagging the reality of the nation lies at the heart of Gellner's [Gellner, 1987] work on the creation of modern nationalism. More than anything else, Gellner insists, it is the modern school system, which furnishes its subjects with identity as they seek to learn about the history of their culture. Yet in learning about "their" culture, students learn that the world is subdivided- by nature or some other force- into preternatural categories and that 'they' have a single unified history, which can be projected back onto history. Billig [Billig, 1995, p. 71] recognizes as much when he argues that "national histories tell of a people passing through time- 'our' people, with 'our' ways of life, and 'our' culture. Stereotypes of character and temperament can be mobilized to tell the tale of 'our' uniqueness and 'our' common fate." Public memorials thus serve to institutionalize and stabilize that history outside of the formal school setting.

Everyday nationalism has been widely used as a research paradigm. Sumartojo [Sumartojo, 2017] discusses public features as "flaggings" of the nation in everyday life, stating that "...a postal address, local council area, parliamentary constituency or named landscape feature all have official and national meaning" [Sumartojo, 2017, p. 198]. Sumartojo discusses the nation as *experiential*. That is to say, that the nation is not just an imposition of political power or a collection of symbols and ideologies or even a social construction, but it is an experience, a lens through which we perceive and sense the world. This sensory process is a

notion “...that attends to how we trace through, perceive and make sense of it as part of our everyday worlds” [Sumartojo, 2017, p. 199]. Understanding the common sense of societies allows us to interpret the social reality in which our subjects live.

Similarly, Goode [Goode, 2017] uses the bridge “between ‘banal’ and ‘everyday’ nationalism to account for the disconnect between public and private patriotisms in Russia” [Goode, 2017, p. 123]. He finds that, while official attempts to commandeer the nationalist juggernaut do exist, when the state does try to do so it is deemed inauthentic, suggesting limits to the ability of the state to do so. Perversely, this drains the meaning from these practices and achieves the opposite of what was intended. Indeed, “if ‘banal’ nationalism as a concept involves the extent to which individuals are unaware of the constant flagging of the nation in their daily lives and routines, my interviews in Russia suggest that the Kremlin may have achieved the opposite. Respondents viewed the state’s patriotic practices as relatively obvious” [Goode, 2017, p. 129–130]. In articulating limits to the state’s capacity to commandeer mass movements, everyday nationalism offers insights into them.

Entire subfields of scholars are setting to work implementing the concept of everyday nationalism to diverse subject. For instance, everyday nationalism can be employed in understanding food cultures. Protection of supposedly “indigenous” cultural legacies represented by food has become a legitimate way for states to defend national boundaries and simultaneously a powerful means for actors to debate and assert their own national self-identification. Ichijo [Ichijo, 2020, p. 217], for example, discusses a debate over halal hamburgers introduced into a fast-food chain in France which symbolizes a broader debate over the boundaries of the nation.

Indeed, everyday nationalism is also manifest in discussions of sports and sporting mega-events, such as the Olympics and World Cup. “The international profiles of World Cup football, the Olympics, and other international sporting competitions provide explicitly national parameters for the organization and experience of collecting belonging: [Fox, Miller-Idriss, 2008, p. 557]. Arnold [Arnold, 2021] writes about sporting practices that manifest the nation. Among the most undetectable, he suggests, is the ability of most sports to operate in a national frame of reference and orient people to their nation, providing mental maps in which the masses understand the world.

Finally, the everyday nationalism approach has even been suggested as a method to reconstruct long-finished mass movements. Vucetic and Hopf [Vucetic, Hopf, 2020] argue that there is a similarity between identity-based international relations scholarship and everyday nationalism. Their method involves reconstructing the worldview of actors through inductive analysis of popular texts- an approach especially useful for understanding past mass movements as “at least some manifestations of everyday nationalism and national identity can be accessed and reconstructed via the interpretation of text, not least because ‘proper’ ethnography can only be limited to the present and the immediate past” [Vucetic, Hopf, 2020, p. 1003]. Reconstructing the past experience of mass movements is important in understanding how they differ from those movements of the present.

The everyday nationalism literature is thus full of insights related to the phenomenon of mass movements, informing scholars of the importance of the habitual and banal.

Because of its analysis of nationalism from below, it is very well-equipped to tell scholars about the mechanisms that construct and stabilize worldviews. Its ethnographic approach thus helps account for the objects that perpetuate the existence of social phenomena. How this can be used to help explicate the study of revolt is the task of the next section.

EVERYDAY NATIONALISM IN ACTION: EASTERN EUROPE AND BLM

The last section recounted the ethnographic approach of everyday nationalism, which problematizes and deconstructs the social phenomenon of the nation. Such an approach can be useful for studies of mass movements, I argue, as it allows the researcher to approximate the private preferences of members of such movements. The section recounts this logic and then offers insights into the 1989 revolutions, which ended the Soviet empire and the Black Lives Matter movements of 2020. Taken together, these events suggest the everyday nationalism approach has much promise.

Timur Kuran [Kuran, 1991] accounts for the surprise of revolutions through the cascading logic of incremental changes in preference falsification. When societies are in equilibrium, even though people may still oppose the political authorities, they are reluctant to show it because the weight of public opinion is not on their side. Exogenous events, however, which alter the preferences of one actor to the point where they are willing publicly to display their discontent may have knock-on effects in changing the calculus of other actors. In this way, revolutions and social movements that seemed unthinkable at one time suddenly come to seem inevitable. Indeed, it is for this reason, that “governments throughout history have recognized the significance of preference falsification and out of self-interest have tried to keep themselves informed about the private preferences of their constituents” [Kuran, 1991, p. 30]. With its focus on the banal and unnoticed, the research paradigm of everyday nationalism can furnish some powerful insights as to citizens private preferences.

Kuran's original case against which he developed and evaluated his theory was the Eastern European revolutions of 1989, which brought down Communist rule in the eastern bloc states aligned with the Soviet Union. One of the keys to the power of the Soviet empire in East Germany and Czechoslovakia was the unwillingness of people to signal their private opposition to the status quo, but as more people did so they changed the calculus of others, eventually forming the tsunami effect of national revolution. Evidence from surveys demonstrates latent opposition to the regime, opposition which could have reached a tipping point with East German troops' refusal to fire on street protestors or Gorbachev's invocation of the Sinatra doctrine regarding non-orthodoxy in Poland and Hungary [Kuran, 1991, p. 37–39]. Ethnographic awareness of discontent may have provided important insight into the possibility of revolutions – which took almost every Western observer by surprise.

A contemporary parallel might be given in the Black Lives Matter (BLM) protest movement that swept the globe in 2020. Both the killing of George Floyd and its manner were reprehensible, at least part of the explanation for why the movement spread so far so fast was the latent discontent caused by the Covid-19 pandemic that meant social life stopped completely in most countries of the world. Yet more instructive than the manner whereby the BLM protests were generated is the objects that were targeted for change. Public

sites of memory and institutes named for those without prominent connections to racism, such as the Woodrow Wilson school at Princeton University, statue of Lord Baden-Powell in Poole (UK), or a statue of Winston Churchill in Prague were attacked. The fact that such everyday and mundane features of social existence were the focal point for the ire of the protestors suggests the importance of such everyday features of social existence.

CONCLUSION

This paper has argued that the everyday nationalism [Fox, Miller-Idriss, 2008] approach is an in-demand paradigm, which can usefully be used to understand the life of ordinary mass movement members. Through interpretation and deconstruction of their conventional reality, the approach offers a way to understand the concerns and issues, which motivate them. After developing the concept and showing it at work in a few examples, the paper gave a brief accounting of how the concept could help comprehend both the 1989 East European revolutions and the BLM protests of 2020. Future directions for research include ethnographic studies of the daily reality of mass movements – both actual and potential. Understanding the context in which mass protests take place can contribute to successful and efficient resolution of social grievances.

REFERENCES

- Anderson B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1983. 160 p.
- Arnold R. Nationalism and Sport: A Review of the Field, in *Nationalities Papers* Vol. 49. Iss. 1. January 2021. Pp. 2–11.
- Billig M. *Banal Nationalism*. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE, 1995. 208 p.
- Fox J.E., Miller-Idriss C. Everyday Nationhood, in *Ethnicities*. Vol. 8. Iss. 4. December 2008. Pp. 536–563.
- Gellner E. *Nations and Nationalism*. Ithaca – New York: Cornell University Press, 1987. 150 p.
- Goode J.P. Humming Along: Public and Private Patriotism in Putin's Russia, in *Everyday Nationhood: Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism*. Michael Skey and Marco Antonsich [Eds]. London: Palgrave Macmillan, 2017. Pp. 121–146.
- Ichijo A. Food and Nationalism: Gastronationalism Revisited, in *Nationalities Papers*. Vol. 48. Iss. 2 (Special Issue on National Cultural Autonomy in Diverse Political Communities: Practices, Challenges, and Perspectives). March 2020. Pp. 215–223.
- Kuran T. Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989, in *World Politics*. Vol. 44. No. 1. October 1991. Pp. 7–48.
- Sumartojo Sh. Excerpt: *Making Sense of Everyday Nationhood: Traces in the Experiential World*, in *Everyday Nationhood: Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism*. Michael Skey and Marco Antonsich [Eds]. London: Palgrave Macmillan, 2017. Pp. 197–214.
- Vucetic S., Hopf T. Everyday Nationalism and Making Identity Count, in *Nationalities Papers* Vol. 48. Iss. 6 (Special Issue on Everyday Nationalism in World Politics). November 2020. Pp. 1000–1014.

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

С.В. Черницын

Аннотация. Изучение социальных протестов занимало важное место в советской исторической науке. Был накоплен огромный фактический материал, сформировалась теория классовой борьбы. В 1990-х гг. по причине политических и идеологических изменений в стране исследование этих феноменов сокращается, меняются оценки событий и их участников. В публикации утверждается необходимость активизации исследований в данном направлении, критического анализа накопленного научного наследия, дополнение понятийного аппарата. Одним из новых перспективных направлений представляется семиотический анализ образов, связанных с классовой борьбой в России. В публикации рассматриваются основные признаки такого семиозиса и его социокультурные механизмы. В формировании образов-символов событий и их лидеров основную роль играл фольклор. Но постепенно возрастает значение институциональных факторов, которые связаны с государственными социальными институтами и идеологией. Ко второй половине XX в. их роль в сохранении и интерпретации символов становится определяющей, а изменение политических приоритетов к концу столетия приводит к забвению символов классовой борьбы в системе ценностей общества.

Ключевые слова: Классовая борьба, крестьянские войны, семиозис, семиотика, лидеры крестьянских войн, образование, институциональные компоненты культуры.

SOME MODERN ASPECTS OF THE CLASS STRUGGLE STUDY

S.V. Chernitsyn

Abstract. The study of social protests occupied an important place in Soviet historical science. A huge amount of factual material was accumulated, and a theory of the class struggle was formed. In the 1990s, due to political and ideological changes in the country, the study of these phenomena was reduced, and the assessments of events and their participants changed. The publication asserts the need to intensify research in this direction, to critically analyze the accumulated scientific heritage, and to supplement the conceptual apparatus. One of the new promising directions is the semiotic analysis of images associated with the class struggle in Russia. The article discusses the main features of such semiosis and its socio-cultural mechanisms. Folklore played a major role in the formation of images-symbols of events and their leaders. However, the importance of institutional factors that are associated with state social institutions and ideology is gradually increasing. By the second half of the 20th century their role in the preservation and interpretation of symbols becomes decisive, and the change in political priorities by the end of the century leads to the oblivion of the symbols of the class struggle in the value system of society.

Keywords: class struggle, peasant wars, semiosis, semiotics, leaders of peasant wars, education, institutional components of culture.

Проблемы истории и теории классовой борьбы были приоритетными в советских общественных науках. Это основывалось на марксистской теории, по которой классовая борьба являлась локомотивом исторического развития. Ее историография (особенно применительно к отечественной истории) обширна, но, главное — сложился понятийный аппарат, и была сформулирована стройная система теоретических и методологических установок, позволяющая говорить о теории классовой борьбы [Семенов, 1965, с. 399–402, 412–413].

Все это также представлено в историографии истории Дона и донского казачества. Помимо научных работ в краеведческой периодике (особенно в 1970–1980-х гг.), учебной литературе, музейных экспозициях обязательно выделялись сюжеты, связанные с классовой борьбой: участие казаков в крестьянских войнах XVII–XVIII вв., революционные события начала XX в., наконец — Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война на Дону, завершившиеся победой советской власти. Это легко подтвердить, обратившись к библиографическим справочникам [История Дона..., 1969, с. 49–53, 59–60, 63–71, 72–79]. Подобное наблюдалось и в художественной литературе, изобразительном искусстве, кинематографе того времени.

В исследовательских работах оценка личностей и событий осуществлялась, как правило, с «классовых позиций», которые вполне разделяли многие авторы, в том числе — представители академической науки. Из этого вытекала неизбежная односторонность: все проявления классовой борьбы (особенно революции), несмотря на критику и споры по теоретическим вопросам, оценивались положительно как прогрессивные. Они считались справедливыми: классовая борьба определялась как «освободительная борьба трудящегося народа» против угнетателей, эксплуататоров-феодалов, капиталистов, а также — государства, защитника их интересов.

В академических работах, как и в популярных публикациях, несмотря на критику ошибок, явно идеализировались участники и лидеры восстаний, войн и революций — все, выступавшие против существовавших порядков. А представители противоположной стороны, «силы контрреволюции» в советской литературе оценивались однозначно отрицательно. Например, Войсковой атаман Корнелий Яковлев не просто «теряется» на фоне личности Степана Разина, но в серьезном исследовании — очерке Б.В. Лунина, посвященном крестьянской войне, в адрес него и сторонников звучат уничижительные формулировки: про «Корнилу Яковлева и ему подобных (курсив С.Ч.)...», или — казачьи верхи действуют, чтобы «...лишний раз выслужиться (курсив С.Ч.) перед царским правительством» [Лунин, 1960, с. 51]. Полемизируя с Н.Н. Фирсовым, писавшем в 1930 г. о жестокостях Разина, Б.В. Лунин старается смягчить негативные характеристики, указывая на предвзятость правительственных источников, приводя обратные примеры, говорящие о справедливости и популярности казачьего вождя. Подобного «смягчения» нет при описании расправ над разинцами [Лунин, 1960, с. 42–43; 51–53]. Но признаем, что такая же тенденция преобладала в фольклоре, где Разина, Пугачева и других вождей мнение народное оценивало чаще всего положительно. Думается, для идеализации и односторонности, как в фольклорной, так и в академической традиции были основания:

все протестные действия имели причины, эксплуатацию и тяжелое положение трудящихся масс нельзя отрицать, а лидеры действительно отражали настроения этого населения, стремясь добиться воли и справедливости как это понимали они сами и их соратники, участники борьбы!

События и лидеры, возглавлявшие движения против существовавшего строя и несправедливых порядков (но не их противники!) в советский период стали символами общественного сознания, составлявшими государственную идеологию, определявшими образовательную и культурно-воспитательную политику. Но и при таком подходе велись дискуссии, обсуждались вопросы о типологии и движущих силах крестьянских войн, участии в них различных социальных групп и т.д. А уже с конца 1980-х гг. появляется тенденция к рассмотрению нравственных аспектов классовой борьбы, в том числе – к переоценке личностей и событий с этих позиций [Соловьев, 1991, с. 37–38].

В постсоветский период темы, связанные с протестными действиями (классовой борьбой) народных масс отходят на второй план, а сами оценки событий и лидеров зачастую без должной аргументации меняются на противоположные. Крестьянские войны, особенно в публицистике, оценивались в понятиях «бунт», «мятеж», которые кроме бессмысленной жестокости ничего не несли. Это – общая тенденция, несмотря на появление отдельных исследований, (В.М. Соловьева, В.Я. Мауля, глав в коллективной монографии «История донского казачества»), сохраняется до настоящего времени. Представителям гуманитарного сообщества следует преодолеть этот недостаток. Речь идет не только об изучении проблематики классовой борьбы, осмыслении (и переосмыслении) накопленного научного материала, но и о проведении междисциплинарных исследований с использованием опыта этнологии, культурологии, подходов культурной семиотики (семиологии).

На мой взгляд, теоретическое наследие советской исторической науки в части классовой борьбы и, особенно – понятийный аппарат, вполне «работоспособны» в современных исследованиях. Разумеется, необходим критический подход, уточнение содержания понятий и терминов и отказ от устаревших положений. Можно рассмотреть вопросы о границах использования понятий «классы», «классовая борьба»; о том насколько они корректны применительно к современному постиндустриальному обществу. Могу заметить, что в этнологии (до 1990 г. называлась этнография) к этим понятиям обращались при изучении проблем соционормативной и социоинститутной культуры, потестарных обществ и военной демократии. А затем в 1990-х гг. «классовые определения» без дискуссий и обсуждений просто исчезли из академических публикаций. Но и в главах коллективной монографии «История донского казачества» (2020), связанных с крестьянскими войнами и восстаниями, категории «классовая борьба» нет, уважаемые авторы использовали более общий термин «социальные движения» [История донского казачества..., 2020, т. I, с. 201–265; История донского казачества, 2020, т. II с. 179–192]. Но разве в ходе научных дискуссий ученое сообщество пришло к выводу, что теория классовой борьбы устарела настолько, что стала недееспособной?

Конечно, надо расширять понятийный аппарат, например, уточнив содержание такого понятия как «элита». Оно часто используется в работах, но толкуется по-разному [Криворученко, 2012, с. 23–37]. Всякие ли группы, обладающие властью и владеющие средствами производства, могут называться «элитой»? Как соотносится это понятие со старым, добрым марксистским – «класс»?

Или – вопрос об отношении к понятиям «свобода» и «воля» во время протестных действий в народных массах в разные исторические периоды, в разных социальных группах и этнических средах. Уточним: речь должна идти не о восприятии этих категорий в среде средневековых книжников, философов, правоведов, образованных сторонников Просвещения и других представителей интеллектуального меньшинства. А – о представителях «широких народных масс», зачастую неграмотных или – малограмотных, мысливших в рамках религиозно-мистического сознания. В.М. Соловьев в исследовании о выступлении С. Разина анализирует феномен крестьянских войн, сравнивая их проявления в России и в странах Западной Европы. Признавая наличие сходных черт, указывает на отличия, основная причина которых «...насколько русское понятие “воля” отличается от английского “liberty” – свобода...» [Соловьев, 1991, с. 26–27]. К сожалению развернутого обоснования этого замечания не приводится. Являлась ли «воля» чисто русским (восточнославянским) понятием, либо – в понимании европейского «простонародья» «liberty» – соответствовало ему по содержанию или было похожем? «Я пришел дать вам волю!» – заявление, которое соотносится со Степаном Разиным. А можно ли гипотетически представить обращение воевавшего с Пугачевым И.И. Михельсона (или А.И. Бибикова) к дворянам: «Я пришел сохранить вам (или вашу) волю»? Было ли в XVIII в. свое понятие «воля» у дворянства, привилегированного и более образованного класса общества? Соотносилось ли оно с философским, книжным – «свобода»?

Представляется перспективным изучение феноменов социальных протестов и классовой борьбы, включая лидеров и участников, с использованием методов семиотики, изучающей знаки и знаковые коммуникации [Лотман, 1998, с. 194–196]. Это интересно и потому, что в исследованиях чаще рассматривались реалии материальной [Иванов, 1989, с. 38–62; Топорков, 1989, с. 89–101], реже – духовной культуры и социальные институты и очень редко – события и личности [Лотман, 1998, с. 196].

События крестьянских войн, революций не просто сохранились в виде образов в массовом сознании непосредственных участников и их потомков, но сами образы превратились в символы: политические (социальной идентичности и протеста), гражданские (советской идентичности), этнические.

Здесь можно выделить проблемы: 1. Семиозиса – превращения образов событий, их участников и лидеров в символы, воспроизводящиеся через поколения в разных социальных стратах. 2. Смыслового содержания (коннотаций) семантических полей этих символов. 3. Механизмов их распространения и сохранения. 4. Влияния символов на идеологию, общественное сознание разных этнических и социальных групп в историческом развитии.

Возникает вопрос о правомерности разграничения и самостоятельного изучения образов событий (крестьянских войн) и лидеров. Если говорить о символах образов Крестьянской войны под руководством С. Т. Разина (или Е. И. Пугачева) и самих предводителей, «вождей восставшего народа», то в нашей ситуации (не рассматривая крестьянские войны в Западной Европе) можно предположить, что названные события в коллективной памяти были персонифицированы, а символический образ лидера «включал» и «заменял» само событие. Но потрясения 1-й четверти XX в., Октябрьская революция 1917 г. и последовавшая за нею Гражданская война, являются самостоятельными символами, которые соотносятся с другими символическими образами целой группы лидеров. И у всех семантические поля включают коннотации не просто более разнообразные, но и противоречивые, порой взаимоисключающие. Причинами можно назвать то, что реалии начала XX в. отразились в большем количестве источников, аккумулировавших более обширную информацию; социальная структура общества усложнилась по сравнению с предшествующими столетиями, а границы между социальными стратами стали более размытыми; наконец, сами личности предреволюционной поры несут в себе больше внутренних моральных и мировоззренческих противоречий, менее целостны, чем их предки. Последний из аспектов рассматривался в литературе [Мауль, 2003], но его можно назвать малоизученным. Семантика и семиозис образов классовой борьбы начала XX в. представляется отдельной темой, поэтому остановимся на реалиях крестьянских войн XVII–XVIII вв.

Отметим, что содержание семиозиса составляют следующие признаки (но не этапы! – С. Ч.). Во-первых, образ лидера (или события) абстрагируется, «фильтруется»: в общественном сознании исчезают биографические и бытовые детали, придающие ему более обыденный, «земной» характер. Во-вторых, герою приписывают дополнительные (участие в событиях из другого времени, основание поселений и др.) или избыточные (особая прозорливость, бесстрашие, особенности внешности и т. д.) свойства. В-третьих, происходит мифологизация, когда уже приписываются мистические черты (умение колдовать, заговаривать пули и т. д.). В-четвертых, происходит массовизация образа: информация не только распространяется среди широких слоев населения, но также – закрепляется и устойчиво воспроизводится.

В процессе семиозиса можно выделить механизмы, которые «включаются» на этапах исторического развития. Первичным и основным представляется фольклор, понимаемый как совокупность вербальных коммуникаций, «видов и жанров массового устного народного творчества». Именно здесь герою приписывают дополнительные свойства, необычные качества и мистические черты. Роль фольклора особенно велика в традиционном обществе, когда присущие ему формы коммуникации были определяющими в сохранении и передаче информации (то есть – в массовизации).

Фольклорная информация об участниках и событиях распространяется первоначально синхронно, «по горячим следам», а затем – преимущественно диахронно из

поколения в поколение. Это происходит как через изменение старых (сокращение, включение новых образов и сюжетов), так и путем создания новых форм. Можно предположить, что в формировании и воспроизводстве мифопоэтических образов-символов С.Т. Разина и Е.И. Пугачева, фольклор, будучи традиционной формой передачи информации играл вплоть до XX в. главную роль.

При этом для исследования процессов семиозиса фольклорные тексты особенно значимы как формы субъективного отражения реальности (т.е. ее искажения – С. Ч.), что позволяет обращаться к ним для изучения общественного сознания и ценностей различных групп в историческом развитии. Также фольклорные тексты интересны для изучения механизмов групповых коммуникаций, способов передачи информации.

Наряду с традиционными механизмами формирования образов-символов (фольклор) развиваются и другие, имеющие формализованный, институциональный характер. Это – сочинения, написанные современниками; научные исследования, количество которых, увеличиваясь с конца XVIII в., достигает максимума в советский период. Сюда можно добавить краеведческие публикации, где следует выделить еще более близкие к «массовому читателю» научно-популярную литературу и газетную периодику. Все они более опосредованно, чем фольклор влияют на сохранение символов, но их роль возрастает, особенно в XX в. Причины этому – ослабление фольклорных традиций, а с другой стороны – развитие образования, учреждений культуры, рост печатных изданий и т.д. Особенно в советский период в семиозисе событий классовой борьбы определяющую роль играют такие институты как музеи, библиотеки и, особенно – система образования, где эта тема была в числе приоритетных. И, конечно же, следует назвать влияние художественной культуры: литературы, изобразительного и театрального искусства, кинематографа. Это – надэтнические, институциональные компоненты и механизмы как в культуре этносов (в первую очередь русского), так и – советской политической нации (исторической общности). Можно утверждать, что восприятие образованным советским человеком послевоенной поры образов, событий и ценностей, связанных с борьбой С.Т. Разина и Е.И. Пугачева было обусловлено именно этими компонентами, в первую очередь школьным образованием, но уже – не фольклором.

Почему же образы классовой борьбы перестают быть символами в постсоветской системе ценностей? Институциональные механизмы связаны с государственной и общественно-политической системой и определяются формализованными институциями: господствующей идеологией и приоритетами, нормативными документами, законодательством и т.д. Изменение политики государства (или правящего класса) сказывается на их функционировании: меняются оценки, уходит из образовательных и просветительских программ еще недавно актуальная тематика. А фольклорной «компенсации» уже нет. В результате образы крестьянских войн «тускнеют», а вожди народных масс превращаются в общественном сознании в полузабытых Стеньку Разина и Емельку Пугачева.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА.

Иванов В.В. Проблемы этносемиотики // *Этнографическое изучение знаковых средств культуры*. Л.: Наука, 1989. С. 38–62.

История Дона. Указатель литературы. Советская литература. Ростов-на-Дону: Рост. кн. изд-во, 1969. Ч. II. 350 с.

История донского казачества: коллективная монография: в 3 т. / Отв. ред. издания А.И. Агафонов. Т. I. Донское казачество в середине XVI–начале XVIII в. Ростов-на-Дону: Омега Пабlishер, 2020. 288 с.

История донского казачества: коллективная монография: в 3 т. / Отв. ред. издания А.И. Агафонов. Т. II. Донское казачество в составе Российской империи в XVIII–начале XX в. Ростов-на-Дону: Омега Пабlishер, 2020. 416 с.

Криворученко В.К. Элита: к вопросу о понятии // *Элита России в прошлом и настоящем: социально-психологические и исторические аспекты*. М.: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2012. Вып. 2. С. 23–37.

Лотман Ю.М. Семиотика // *Культурология XX в. Энциклопедия*. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 2. С. 194–196.

Лунин Б.В. Степан Разин. Краткий исторический очерк. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1960. 72 с.

Мауль В.Я. Харизма и бунт. Психологическая природа народных движений России XVII–XVIII вв. Томск: Изд-во ТГУ, 2003. 243 с.

Семенов В.С. Классы и классовая борьба // *Советская историческая энциклопедия*. Т. 7. «Каракеев–Кошакер». М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1965. 1023 с.

Соловьев В.М. Современники и потомки о восстании С.Т. Разина. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991. 165 с.

Топорков А.Л. Символика и ритуальные функции предметов материальной культуры // *Этнографическое изучение знаковых средств культуры*. Л.: Наука, 1989. С. 89–101.

REFERENCES

Ivanov V.V. Problemy etnosemiotiki [Problems of the ethnosemiot], in *Etnograficheskoye izucheniye znakovykh sredstv kul'tury* [Ethnographic study of the symbolic means of culture]. Leningrad: Nauka, 1989. Pp. 38–62 (in Russian).

Istoriya Dona. Ukazatel' literatury. Sovetskaya literatura [Don's story. Index of literature. Soviet literature]. Rostov-on-Don: Rost. kn. izd-vo, 1969. Part II. 350 p. (in Russian).

Istoriya donskogo kazachestva: kollektivnaya monografiya: v 3 t. T. I. Donskoye kazachestvo v seredine XVI–nachale XVIII v. [History of the Don Cossacks: collective monograph: in 3 vol. Vol. I. Don Cossacks in the middle of the 16th–beginning of the 18th century]. Otv. red. izdaniya A.I. Agafonov. Rostov-on-Don: Omega Pablisher, 2020. 288 p. (in Russian).

Istoriya donsogo kazachestva: kollektivnaya monografiya: v 3 t. T. II. Donskoye kazachestvo v sostave Rossiyskoy imperii v XVIII–nachale XX v. [History of the Don Cossacks: collective monograph: in 3 vol. Vol. II. Don Cossacks as part of the Russian Empire in the 18th and early 20th centuries]. Ed. by A.I. Agafonov. Rostov-na-Donu: Omega Publisher, 2020. 416 p. (in Russian).

Krivoruchenko V.K. Elita: k voprosu o ponyatii [Elite: on the question of the concept], in *The Russian Elite in the Past and Present: socio-psychological and historical aspects* [Elite of Russia in the past and present: socio-psychological and historical aspects]. Moscow: Izd-vo Moskovskogo gumanitarnogo un-ta, 2012. Iss. 2. Pp. 23–37 (in Russian).

Lotman Yu.M. Semiotika [Semiotics], in *Kul'turologiya XX v. Entsiklopediya* [Culturology of the 20th century. Encyclopedia]. St. Petersburg: Universitetskaya kniga, 1998. Vol. 2. Pp. 194–196 (in Russian).

Lunin B.V. *Stepan Razin. Kratkiy istoricheskiy ocherk* [Stepan Razin. A brief historical sketch]. Rostov-on-Don: Izd-vo RGU, 1960. 72 p. (in Russian).

Maul' V.Ya. *Kharizma i bunt. Psikhologicheskaya priroda narodnykh dvizheniy Roccii XVII–XVIII vv.* [Charisma and rebellion. Psychological nature of Russian popular movements of the 17th–18th centuries]. Tomsk: Izd-vo TSU, 2003. 243 p. (in Russian).

Semenov V.S. *Klassy i klassovaya bor'ba* [Classes and class struggle], in *Sovetskaya istoricheskaya entsiklopediya. T. 7. "Karakeyev-Koshaker"* [Soviet Historical Encyclopedia. Vol. 7. "Karakeev-Koshaker"]. M.: Izdatel'stvo "Sovetskaya entsiklopediya", 1965. 1023 p. (in Russian).

Solov'yev V.M. *Sovremenniki i potomki o vosstanii S. T. Razina* [Contemporaries and descendants of S.T. Razin]. M.: Izd-vo Un-ta druzhby narodov, 1991. 165 p. (in Russian).

Toporkov A.L. *Simvolika i ritual'nyye funktsii predmetov material'noy kul'tury* [Symbols and ritual functions of objects of material culture], in *Etnograficheskoye izucheniye znakovykh sredstv kul'tury* [Ethnographic study of the symbolic means of culture]. Leningrad: Nauka, 1989. Pp. 89–101 (in Russian).